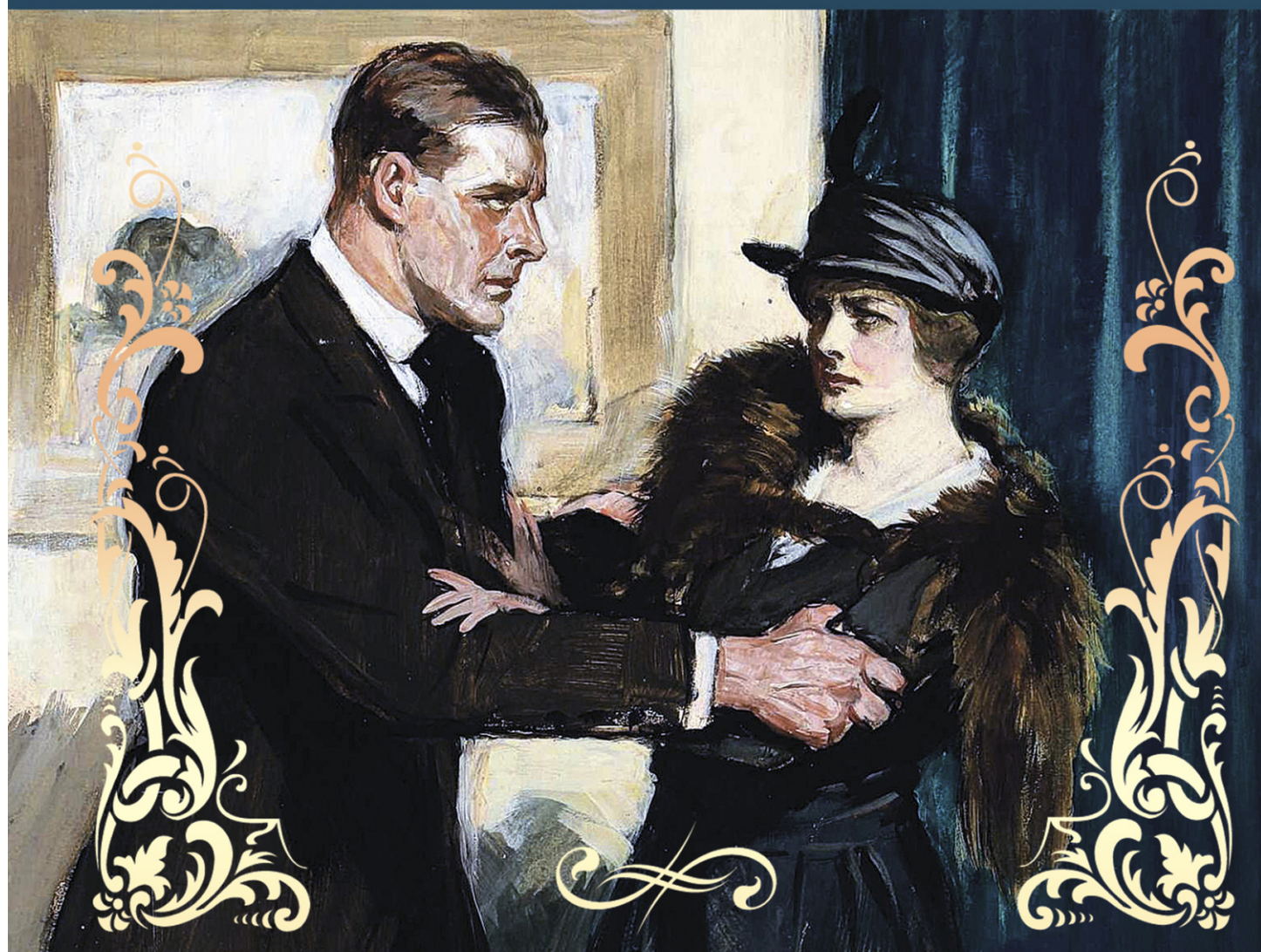


100 великих романов

Август СТРИНДБЕРГ

СЛОВО
БЕЗУМЦА
В СВОЮ ЗАЩИТУ



100 великих романов

Август Стриндберг

**Слово безумца в свою
защиту (сборник)**

«ВЕЧЕ»

1888, 1903

Стриндберг А. Ю.

Слово безумца в свою защиту (сборник) / А. Ю. Стриндберг —
«ВЕЧЕ», 1888, 1903 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-7652-5

«Слово безумца в свою защиту» продолжает серию автобиографических произведений известного шведского писателя Августа Стриндберга (1849–1912). В романе описывается история сложных взаимоотношений автора с его первой женой баронессой Сири фон Эссен. В названии книги видна аналогия с «Защитительной речью» Сократа, а главный герой не столько исповедуется перед читателем, сколько выступает в роли собственного адвоката. В книгу включен также роман «Одинокий».

ISBN 978-5-4484-7652-5

© Стриндберг А. Ю., 1888, 1903

© ВЕЧЕ, 1888, 1903

Содержание

Война и мир полов, или хорошо темперированная одержимость	7
Слово безумца в свою защиту	11
Предисловие	11
Часть первая	18
Конец ознакомительного фрагмента.	53



Август Стриндберг
Слово безумца в свою защиту

© Лунгина Л.З., перевод на русский язык, наследники, 2018
© Клех И.Ю., вступительная статья, 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Война и мир полов, или хорошо темперированная одержимость

Кафка о таких, как он сам, модернистах заявлял вот что: «...все мы современники и последователи Стриндберга». С виду напоминает ошибочное утверждение приверженцев натуральной школы в русской литературе, что все они якобы «вышли из гоголевской “Шинели”». Может, Достоевский и вышел, но никто больше. Со Стриндбергом иначе. Этот подзабытый ныне писатель еще при жизни сделался кумиром и родоначальником одного из новых направлений в художественной литературе.

Август Стриндберг (1849–1912) начинал как реалист, озабоченный злободневными социальными проблемами, затем превратился в сторонника натурализма и позитивиста, проповедника войны полов, а закончил как предтеча экспрессионизма и мистик теософского свойства. Всеевропейскую славу ему принес скандальный автобиографический роман «Слово безумца в свою защиту», написанный по-французски. Переводилось его название иногда как «Исповедь глупца», но точнее всего по смыслу было бы перевести его как «Исповедь одержимого». Потому что Стриндберг в нем предстал глашатаем разгоравшейся в эгалитарном обществе войны полов, ошеломившей современников, и дал эталонное художественное описание умственного помешательства садомазохистского характера на почве ревности. Кстати, не меньший скандал вызвала тогда же «Крейцера соната» Толстого, шедшего со Стриндбергом почти «ноздря в ноздю». Хотя в интеллектуальном отношении почва для этого давно разрыхлена была мизантропом Шопенгауэром, а в социальном плане подготовлена набиравшей силу борьбой за права женщин. На кризис буржуазного брака, как респектабельной разновидности проституции, справедливо указывали мыслители левого толка и марксисты – классовая борьба и война полов как бы совпали по фазе. Оттого в современном мире всепобеждающего феминизма и так называемой политкорректности у Стриндберга не так много шансов быть почитаемым и читаемым автором.

Кто не поперхнется сегодня от такого признания Стриндберга, например: «Христианство для меня – откат в развитии, религия малых, убогих, кастратов, баб, детей и дикарей, поэтому она находится в прямом противоречии с нашей эволюцией, которая должна защитить сильных от низшего вида... Поэтому Ницше для меня – тот дух современности, который осмеливается утверждать право сильного и умного по отношению к глупым и малым (демократам), и я могу представить себе страдания этого великого духа под властью многих малых в наше время, когда поглупели и обабилась все».

Но вот и религии почти не стало в постиндустриальном обществе, и классовая борьба устаканилась, а необъявленная война полов только крепчает. Был ли трижды женатый Стриндберг женоненавистником? Ответ – бывал. И особенно в мучительный для него период пребывания в первом многодетном браке, о чем он писал так: «Я смертельно устал и измотан; чувствую, что пережил последнюю стадию исчезновения иллюзий: что наступил мужской *l'âge critique*, сорок лет, когда уже все просматривается насквозь, как стекло». Оттого последующие его браки и оказались более скоротечными и менее болезненными. Здесь совпало сразу несколько факторов.

Во-первых, закат сословного разделения людей, на протяжении тысячелетий исправно служившего двигателем прогресса во всех человеческих обществах, однако угнетавшего дремлющие силы огромного числа вполне дееспособных людей. И присущее буржуазной эпохе имущественное расслоение все же оказалось более щадящим и оставлявшим больший простор для инициативы. Во-вторых, произошел огромный скачок в нашем сознании и самопознании, инициированный людьми Ренессанса и увенчавшийся появлением искусства как творчества и есте-

ствознания как инструмента овладения силами природы. Прямое отношение к теме в данном случае имеет возникновение в XIX веке развившейся из психиатрии науки психологии. Прекраснодушных иллюзий и злостных заблуждений у современников Стриндберга было немалое, и не один он мог сбрендить от сваливающихся на их головы новых знаний. От постыдного родства с приматами, от равноправия с выходящим из повиновения женским полом, от признания в собственных детях полноценных одушевленных существ, а не просто «недоделанных» взрослых.

В скандинавских литературах образовалась интересная конфигурация трех самых значимых писателей того века. Это «друг женщин», которого Стриндберг называл «синечулочником», норвежский драматург Ибсен – со свисающими, как у породистого крупного пса, бакенбардами. Это шведский женоненавистник Стриндберг – с торчащими по-кошачьи и подкрученными усами на большинстве фотографий. И это худощавый и нескладный датский сказочник Андерсен – друг и заступник всех девочек, мальчиков и сирот в негостеприимном мире взрослых. Былой «властитель дум» мещанского сословия Ибсен устарел более всего хотя бы потому, что вскормившая его среда очень изменилась внешне. Забвение точно не грозит Андерсену, который не желал вырасти из детских представлений, чтобы не иметь дела с женщинами, и к которому применимо суждение Стриндберга об одном из своих героев: «Он боялся женщин, как мотылек, который знает, что умрет после оплодотворения». А вот подзабытый и неугомонный Стриндберг продолжает и после смерти вести свою войну с женщинами.

Как писатель, он имеет возможность по-детски спрятаться под маской персонажа:

«Обычно он имел одновременно три предмета страсти. Одна страсть – на расстоянии, великая, святая и чистая (так он ее определял), с проектами женитьбы на заднем плане, другими словами: супружеская постель, но чистая. Затем – маленькое волокитство за какой-нибудь трактирной служанкой. И, наконец, – весь общедоступный ассортимент: блондинки, брюнетки, шатенки и рыжие».

Но может и от собственного лица в одном из писем признаваться ровно в том же: «Что это за дарование, которое не способно перенести ночь у проституток и небольшой стычки с полицией! Я, например, после хорошей случки всегда чувствовал прилив душевных и жизненных сил». А как известно, чем больше борделей, тем насущней потребность в возвышенной «неземной» любви, чреватая разочарованием, потому что изначально рукотворная.

И удивительно, что этот крайний индивидуалист и эгоцентрик вообще обладал способностью любить и прощать, что видно по гремучей смеси проклятий, ревности и неподдельной любовной страсти в «Исповеди одержимого». У Стриндберга имелось собственное понимание любви и союза двух сердец, когда, приступая к созданию этого романа, он писал:

«Чистая любовь есть противоречие. Любовь чувственна... В упоении две души подгоняются друг к другу, и возникает симпатия. Симпатия есть перемирие, примирение. Поэтому антипатия возникает обычно тогда, когда разрывается чувственная связь, а не наоборот... Может ли возникать и длиться дружба между полами? Только кажущаяся, ибо мужчины и женщины – прирожденные враги... Духовный брак невозможен, потому что ведет к порабощению мужчины, да такой брак вскоре и распадается... Духовные браки возможны только между более или менее бесполоыми, и когда они заключаются, в них всегда проглядывает что-то аномальное... Истинная любовь может сопровождаться антипатией, разностью взглядов, ненавистью, презрением».

Причем одержимость Стриндберга мотивирована не только психологически, но и эстетически. Столетием ранее европейские романтики воскресили культ художественного «священного безумия», а модернисты явились их преемниками в новых условиях, только без пафоса и красот высокого стиля (доживающих ныне свой век в актерских клише вроде «я безумно люблю...»). И заглянувшие через столетие под покровы и снявшие печать с отношений полов Фрейд и Вейнингер пришли к модернистам очень ко двору. Появление книги «Пол и харак-

тер» и самоубийство ее автора произвело огромное впечатление на остепенившегося к тому времени Стриндберга: «Примерно в 1880 году, оставшись наедине с моим “открытием”, я был близок к тому, чтобы сделать то же. Это не точка зрения, это открытие, и Вейнингер был первооткрывателем... Странный, загадочный человек этот Вейнингер!.. А судьба Вейнингера? Он что, выдал тайны богов? Похитил огонь?»

Есть такой жанр – патография, распространенный во всем читающем мире и возникший, когда психология пребывала еще в нетях у психиатрии. То была попытка взглянуть на творческую личность и ее творчество глазами клинициста, чтобы рассмотреть на конкретном примере и проанализировать взаимосвязь «гения и безумия», грубо говоря. Большинство подобных трудов одиозно, что не может быть приговором самому жанру. Когда за нечто такое принимается Фрейд, это как минимум всегда интересно, а как максимум еще и продуктивно. То же можно сказать о философе-экзистенциалисте Ясперсе, написавшем в жанре патографии книгу «Стриндберг и Ван Гог». Невнимательному читателю может показаться, что автор исследования представил героев своей книги гениальными шизофрениками, но это не больше чем предубеждение. Ни тот ни другой не утрачивали никогда бесспорно «способности рассуждать, ориентации и связности мышления». Дело в другом: согласно Ясперсу, безумие изначально вплетено в ткань человеческой жизни и всегда присутствует если не на лицевой, то на изнаночной ее стороне. Гениальный художник (добавим, философ или даже просто чуткий человек) тем и отличается от лишенного воображения человека посредственного или мнительного психа, что откуда-то это знает, видит и с этим считается. Поэтому психозы, неврозы и прочие отклонения от нормы у подобных людей имеют приступообразный характер и перемежающееся протекание, до поры и в идеале не разрушающие личности.

В отличие от Ван Гога и Вейнингера Стриндберг не наложил на себя руки и даже не лишился рассудка, подобно Ницше, хоть и страдал манией величия и бредом вполне реального преследования феминистами и феминистками, всерьез занимался много лет алхимией и имел какие-то мистические видения, подобно Сведенборгу. После пятидесяти Стриндберг вернулся из вынужденной эмиграции на родину, утомился и даже смягчил свое отношение к женщинам, браку и семье, насколько можно судить по его роману «Одинокий».

Между прочим, умер Стриндберг от рака желудка, страдальчески отказываясь от морфия и завещав похоронить себя с Библией на груди. Он на несколько лет пережил своего оппонента и конкурента Ибсена, который был намного старше его и умер в кругу семьи от повторного инсульта. Когда собравшимся у постели Ибсена сиделка заметила вслух, что больной явно выглядит немного лучше, тот вдруг приподнялся в постели, ясно и отчетливо произнес: «Напротив!» – и с этим словом скончался. «Большинство людей умирает, так по-настоящему и не пожив. К счастью для них, они этого просто не осознают», – писал с горечью Ибсен. И в чем, в чем, а в отсутствии темперамента и невнятности жизненных позиций этих двух прирожденных борцов, Ибсена и Стриндберга, упрекнуть нельзя.

Александр Блок, откликнувшийся на смерть Стриндберга программным некрологом, и Франц Кафка, в частности, относились с высочайшим почтением к нему, поскольку эти гениальные художники были не меньшими путаниками, умевшими тем не менее прозревать то, что другим видеть не дано. «Мы отданы в руки палача за неизвестное или забытое преступление, совершенное нами в каком-то ином мире», – звучит несколько пафосно и очень похоже на Кафку, но это Стриндберг.

Фрейд пытался распутать, что это за преступление, но ему не хватило времени и доказательной базы. И нельзя исключить, что то было не забытое напрочь, а только предстоящее преступление, когда какие-то идеи и слова Стриндберга, Ницше, Вейнингера и других стали использовать в своих целях нацисты. Очень уж подозрительно в романе «Одинокий» звучат заключительные слова «моя борьба», особенно в немецком переводе. И слишком часто не хватало гениям словесности такой опции, как «защита от дурака».

Игорь КЛЕХ

Слово безумца в свою защиту

Предисловие

«Какая ужасная книга!» – скажете вы. Мне возразить тут нечего, могу лишь горько об этом пожалеть. Что же породило ее? Настоятельная потребность обмыть свой труп, прежде чем его бросят в гроб.

Помню, как четыре года назад мой друг, тоже литератор и заклятый враг всех тех, кто сует нос в чужие дела, прервал меня, когда разговор зашел о моем браке:

– Знаешь, а ведь это тема для романа, прямо созданная для моего пера!

И вот тогда-то я и решил сам написать роман, почти уверенный в том, что мой друг меня одобрит.

– Не сердись на меня, старина, что я пользуюсь правами собственника и первооткрывателя!

Помнится также, что шестнадцать лет тому назад мать моей бывшей жены, ныне уже покойная, заметив, что я не свожу глаз с ее дочери, в то время еще баронессы, которая напропалую кокетничала с окружающими ее молодыми людьми, сказала:

– Вот вам, сударь, тема для романа.

Жар свалил меня, когда я сидел за письменным столом с пером в руке. До этого я в течение пятнадцати лет ни разу серьезно не болел, и этот случай, происшедший столь некстати, меня вконец обескуражил. Не то чтобы я боялся смерти, вовсе нет, но мне никак не светило закончить свою громкую карьеру в тридцать восемь лет, так и не сказав последнего слова, не успев осуществить своих юношеских мечтаний. Да к тому же я был полон планов на будущее. Уже четыре года я жил с женой и детьми в изгнании, правда полудобровольном, укрывшись от всех в баварской деревушке; я был вконец измучен, за плечами у меня был суд, меня изолировали от общества, изгнали, попросту говоря, вышвырнули на свалку, и в тот момент, когда я рухнул на кровать, я был всецело во власти одного лишь желания – взять реванш перед тем, как уйти. Началась борьба. У меня не было сил позвать на помощь, я лежал один в своей мансарде, жар не давал мне спуска, он тряс меня, как трясут перину, стискивал горло, чтобы задушить, упирался коленом в грудь, уши от него пылали, и казалось, глаза вот-вот вылезут из орбит. Конечно, это смерть прокралась ко мне в комнату и навалилась на меня.

Но я не хотел умирать. Я оказал ей сопротивление, и завязалась жестокая схватка. Нервы натянулись, кровь быстрее потекла в жилах, мозг трепетал, как моллюск в уксусе. Но, внезапно поняв, что мне не одолеть моего противника, я разжал руки, ничком упал на постель и больше не противился страшным объятиям.

На меня снизошел несказанный покой, сладостная дремота сковала члены, полная безмятежность овладела и телом и душой, уже столько лет не знавшими спасительного отдыха.

Конечно же это была смерть! Желание жить постепенно рассеялось, я перестал что-либо испытывать, чувствовать, думать. Сознание ушло, и пустоту, возникшую оттого, что разом исчезли все безымянные страдания, мучительные мысли, затаенные страхи, заполнило чувство благодатного погружения в бездну.

Проснувшись, я увидел, что жена сидит у моего изголовья и с тревогой глядит на меня.

– Что с тобой, друг мой? – спросила она.

– Я болен! – ответил я. – Но как приятно болеть!

– Да что ты говоришь! Значит, это что-то серьезное...

– Мне конец. Во всяком случае, я на это надеюсь.

– Избави Бог, чтобы ты нас оставил в беде! – воскликнула она. – В чужой стране, вдали от друзей, безо всяких средств к существованию, что с нами станется!

– Вы получите мою страховку, – сказал я, чтобы ее утешить. – Эго, конечно, немного, но хватит, чтобы вернуться домой.

Оказывается, она об этом забыла и продолжала, уже несколько успокоившись:

– Но, дорогой мой, надо что-то делать. Я пошлю за доктором.

– Нет. Я не хочу доктора!

– Почему?

– Потому что... Короче, не хочу.

Мы обменялись взглядами, в которых были все невысказанные слова.

– Я хочу умереть, – отрезал я. – Жизнь мне опротивела, прошлое кажется спутанным клубком, и я не чувствую в себе силы когда-либо его распутать. Пусть меня окутает мрак, и задернем занавес!

Однако мои излияния не тронули ее, она осталась холодна.

– Опять эти старые подозрения! – пробормотала она.

– Да, опять! Прогони привидения, тебе одной это под силу!

Как обычно, она положила руку мне на лоб.

– Теперь хорошо? – спросила она подчеркнуто ласково, тоном заботливой мамочки, как прежде.

– Хорошо!

И в самом деле, прикосновение этой маленькой ручки, которая такой страшной тяжестью легла на мою судьбу, обладало волшебной силой изгонять всех черных дьяволов, рассеивать все тайные сомнения.

Некоторое время спустя жар, однако, снова одолел меня, да пуще прежнего. Жена тут же пошла приготовить бузинный отвар. Оставшись один, я приподнялся на постели, чтобы поглядеть в окно, которое находилось как раз напротив меня. Оно было трехстворчатое, увитое снаружи диким виноградом, но его прозрачно-зеленая листва не закрывала всего пейзажа. На первом плане возвышалась крона айвы, украшенная проглядывающими между темно-зелеными листьями золотистыми плодами; дальше виднелась лужайка и на ней яблони, колокольня церкви, вдали синело Боденское озеро, а на горизонте – тирольские Альпы.

Лето было в разгаре, и вся картина, освещенная косыми лучами солнца, была восхитительна.

До меня доносился посвист скворцов, сидящих на виноградных шпалерах, писк утят, стрекотание кузнечиков, перезвон коровьих колокольцев, и в этот веселый концерт вплетался смех моих детей и голос жены, отдающей какие-то распоряжения и обсуждающей с женой садовника состояние больного.

И тут меня снова охватило желание жить, меня пронзил страх исчезновения. Я решительно не хотел больше умирать, у меня было слишком много обязательств, которые я должен был выполнить, слишком много долгов, с которыми надо было рассчитаться. Снедаемый угрызениями совести, я испытывал острую потребность исповедаться, молить всех простить меня неизвестно за что, унижаться перед первым встречным. Я чувствовал себя виноватым, отягощенным неведомо какими преступлениями, я сгорал от желания облегчить свою душу полным признанием своей воображаемой вины.

Во время этого приступа слабости, вызванного врожденным малодушием, вошла моя жена с кружкой горячего отвара и, намекая на манию преследования, которой я прежде страдал, правда в самой легкой форме, отпила глоток, прежде чем протянуть мне кружку.

– Это не яд, – сказала она с улыбкой.

Пристыженный, я не знал куда деваться и, чтобы ей угодить, залпом опорожнил всю кружку.

Снотворный отвар бузины напомнил мне своим запахом родину, где с этим таинственным деревцем связаны народные поверья, и вызвал прилив чувствительности, побудившей меня к раскаянию.

– Выслушай меня, дорогая, прежде чем я испущу дух. Я признаю, что я безнадежный эгоист. Я погубил твою театральную карьеру ради своего литературного успеха. Я искренне готов все это признать. Прости меня.

Она изо всех сил старалась меня утешить, но я перебил ее, чтобы продолжить:

– По твоему желанию мы заключили брак на условиях раздельного владения имуществом. И тем не менее я промотал твое приданое, решившись по легкомыслию воспользоваться залоговым кредитом. Это, признаюсь, терзает меня больше всего, тем более что в случае моей смерти ты не можешь получить гонорар за мои опубликованные произведения. Вызови поскорее нотариуса, чтобы я мог хоть завещать тебе свое имущество, какое ни на есть. И пожалуйста, после моей кончины вернись к своему искусству, которое ты бросила ради меня.

Она хотела перевести разговор на другую тему, обратить его в шутку, велела мне поспать, уверяя, что все наладится и что смерть вовсе не так близка, как мне кажется.

Вконец обессиленный, я взял ее за руку и попросил посидеть подле меня, пока я буду дремать. Я держал ее маленькую руку в своей и все умолял простить мне зло, которое я ей причинил, а веки мои набрякли в это время сладостной тяжестью, и я почувствовал, что таю как лед, расплавленный лучами ее огромных глаз, и был исполнен бесконечной к ней нежности. Когда же ее поцелуй, словно холодная печать, лег на мой пылающий лоб, я почувствовал, что погружаюсь в глубины несказанного блаженства.

Когда я очнулся от летаргии, было уже совсем светло. Солнце освещало штору с изображением сказочной страны изобилия, и, судя по шумам, доносящимся до меня снизу, было часов пять утра. Я проспал беспробудно всю ночь, и мне ничего не приснилось.

Кружка, в которой жена принесла мне отвар, стояла на ночном столике, и стул ее был по-прежнему придвинут к изголовью кровати, а я был укутан ее лисьей шубой, и пушистый мех нежно щекотал мне подбородок.

Мне показалось, что я выспался впервые за последние десять лет, – настолько отдохнувшей и свежей была моя перетрудившаяся голова. Мысли, которые прежде беспорядочно блуждали в ней, выстроились теперь в ряд, как солдаты регулярной, сильной, хорошо вооруженной армии, и они были способны выдержать атаку приступов болезненного раскаяния – симптома слабоумия и вырождения.

Прежде всего в сознании всплыли те два темных пятна моей жизни, в которых я исповедовался вчера своей любимой, полагая себя на смертном одре, они терзали меня на протяжении стольких лет и отравили мне мгновенья, которые я считал последними.

Теперь мне захотелось разобраться в этих обвинениях, которые я до сих пор принимал как очевидность, однако вдруг меня охватило смутное предчувствие, что не все здесь столь очевидно.

Попытаемся выяснить, сказал я себе, в самом ли деле я настолько провинился, что должен считать себя жалким эгоистом, пожертвовавшим актерской карьерой своей жены ради своих честолюбивых целей.

Вспомним, как в действительности обстояло дело. К тому времени, когда мы сделали оглашение о нашем предстоящем браке, она получала в театре уже только второстепенные, точнее, даже третьестепенные роли, так как ее повторный дебют на сцене провалился из-за отсутствия таланта, уверенности, яркости – одним словом, всего. В канун свадьбы ей вручили синюю тетрадку с текстом роли – там было всего два слова, которые произносила компаньонка в какой-то комедии.

Сколько слез, сколько горя принес брак, погубивший карьеру артистки, пользовавшейся когда-то успехом из-за титула баронессы, а теперь оторванной, и поделом, от искусства.

Конечно, в том крушении, которое началось тогда и которое после двух лет слез над все более тонкими тетрадками ролей привело к ее уходу из театра, повинен оказался именно я.

Когда ее театральная карьера подходила к своему печальному концу, я как раз добился успеха как романист, причем успеха серьезного, бесспорного. Так как я уже прежде писал для театра какие-то вещицы, я сразу же взялся за сочинение так называемой хорошо сделанной пьесы, то есть такой, которая потакает вкусам публики, с единственной целью обеспечить любимой столь желанный ею новый ангажемент.

Я взялся за это дело против воли, потому что давно уже считал необходимым обновить драматургию, но, жертвуя своими литературными убеждениями, написал пьесу по старым образцам, поскольку мне надо было во что бы то ни стало вывести мою дорогую подругу перед публикой, всеми известными приемами швырнуть ее зрителям в лицо, обманным путем завоевать ей симпатию капризной толпы. Но тем не менее ничего не получилось.

Пьеса провалилась, актриса не смогла завоевать публику, принявшую ее враждебно из-за развода и нового брака, и директор поспешил расторгнуть договор, который ему ничего не сулил.

«Моя ли это была вина? – спросил я себя, потягиваясь на кровати, очень довольный собой после этого первого расследования. – Ах, как хорошо иметь чистую совесть!» – воскликнул я. И со спокойным сердцем двинулся дальше.

Печальный, мрачный год проходит в слезах, невзирая на радость от рождения желанной дочери.

Внезапно театральный раж охватывает ее с новой силой. Мы бегаем к директорам всех театров, врываемся к ним без разрешения, занимаемся саморекламой, лезем из кожи вон, но безуспешно, отовсюду нас выпроваживают, все советуют отступить.

Подавленный провалом своей пьесы, тем более неприятным, что я только завоевывал себе имя в литературе, я больше не намеревался сочинять дурные комедии и не собирался разрушить наш брак из-за преходящего каприза, с меня хватало и тех горестей, которые были неизбежны.

И все же я не выдержал характера и, используя свои связи с одним финским театром, добился для жены серии гастрольных выступлений.

Таким образом, я сам дал розги, чтобы меня высекли. Вдовец, холостяк, глава семьи и повар в течение целого месяца! И малым утешением мне были те две охапки цветов и венки, которые она привезла в наш семейный дом.

Но она была такой счастливой и прелестной, она так помолодела, что мне пришлось тут же отправить директору просьбу о заключении с ней контракта на постоянную работу.

Вы только подумайте! Я решаюсь покинуть свою страну, своих друзей, свою работу, своего издателя ради каприза. Но что поделаешь! Либо любишь, либо нет.

К счастью, директор не смог принять в труппу актрису, не имеющую репертуара.

«А виноват, значит, я? Вот так!» Я млею от восторга на постели.

Ах, как, оказывается, полезно время от времени проводить расследование, как это делают англичане. Я испытываю огромное облегчение и чувствую новый прилив сил.

Посмотрим, что было дальше! Рождаются дети, один за другим – первый, второй, третий. Пожинаем, что посеяли. А театральный раж все не иссякает. С ним надо как-то совладать. В это время как раз открывается новый театр. Что может быть проще: я предложил им новую пьесу, на сей раз пьесу о женщине, пьесу, возможно, сенсационную, поскольку женский вопрос привлекает теперь внимание общества.

Сказано – сделано, потому что, как вы знаете, либо любишь, либо не любишь.

Итак, драма с главной женской ролью, соответствующий гардероб, колыбель с младенцем, лунная ночь, появление бандита, слабовольный, трусливый муж, души не чающий в своей

жене (это – я), беременность (это уже что-то новое на сцене!), действие переносится в монастырь, ну и все прочее... Триумфальный успех актрисы и полный провал автора. Провал... Да!

Она была спасена, а я погиб, пошел ко дну.

Несмотря на все – на ужин в ресторане за 100 франков для директора театра, на штраф в 50 франков, уплаченных в префектуре за слишком громкие выкрики «виват» в ночное время, – нового ангажемента, увы, не намечалось.

Но моей вины в этом не было!

Кто же из нас жертва? Кто мученик? Сомнений нет – я! И тем не менее я чудовище в глазах всех порядочных женщин, потому что помешал карьере своей жены и загубил ее талант. Сознание это мучает меня долгие годы, причем настолько, что я даже не могу спокойно умереть. Сколько раз мне публично в лицо кидали горькие упреки. Ха! А на самом-то деле все было как раз наоборот. Карьера погублена, но чья? И кем?

Меня терзают жестокие подозрения, и доброе настроение улетучивается при мысли, что я мог бы оказаться для потомков погубителем таланта и не нашлось бы защитника, который обелил бы меня.

Остается промотанное приданое.

Помню, мне посвятили даже фельетон под названием «Растратчик приданого», помню также очень четко случай, когда мне бросили в лицо, что моя жена содержала своего мужа. Это приятное замечание заставило меня зарядить револьвер шестью пулями. Что ж, докопаемся и здесь до истины, раз люди пожелали в этом копаться, рассудим и это дело, раз люди сочли приличным судить о нем.

Приданое моей жены номинально исчислялось десятью тысячами франков, однако эта сумма была не в наличных деньгах и не в гарантированных процентных бумагах, а в сомнительных акциях, которые мы заложили в банке на мое имя, получив за них, как и положено, лишь пятьдесят процентов их биржевой стоимости. Когда же наступил всеобщий крах, акции эти полностью обесценились, потому что в этот критический момент их оказалось невозможно продать. Это был факт, с которым прежде мало сталкивались, но, так или иначе, я был вынужден внести в банк сполна всю сумму моего займа, то есть пятьдесят процентов ее капитала. В дальнейшем эмиссионный банк возместил жене двадцать пять процентов всей суммы в соответствии с дивидендом наличности банка к моменту краха.

Вот задача для математиков. Сколько же я промотал? Выходит, несколько. За акции, которые нельзя продать, держатель может получить не номинальную, а лишь их реальную стоимость, то есть ничего, но, заложив их, я все же обеспечил, так сказать, прибавочную стоимость в размере двадцати пяти процентов.

Вот это да! Неужели я окажусь невиновным в этом деле, как и в первом?!

А как же угрызения совести, приступы отчаяния, постоянные мысли о самоубийстве? И подозрения, бывшее недоверие, чудовищные подозрения снова терзают меня, и я прихожу в бешенство при мысли, что был готов умереть жалким неудачником. Я был перегружен заботами и работой, у меня никогда не было времени разбираться во всех этих слухах, намеках, ядовитых насмешках, и, пока я весь без остатка отдавался своим трудам, из клеветы завистников и болтовни в кафе рождалась коварная легенда. Черт подери! Подумать только, что я верил всем, кроме самого себя!

Может быть, я вовсе не сумасшедший и никогда не был ни душевнобольным, ни дегенератом. Может быть, я просто оказался в дураках, может быть, я обманут любимой обольстительницей, и ее маникюрные ножницы обрезали у Самсона волосы, когда он положил ей на колени голову, отяжелевшую от забот и трудов ради нее и ее детей!

Исполненный доверия, ни о чем не подозревая, я, быть может, потерял честь, пока спал целое десятилетие в объятиях чаровницы, потерял мужественность, волю к жизни, ум, свои пять чувств и даже больше того!

Быть может, – об этом было даже стыдно подумать! – под завесой тумана, в котором я брожу, как призрак, все эти годы, свершается преступление. Маленькое неосознанное преступление, вызванное смутной жаждой власти, тайным стремлением самки взять верх над самцом в этом поединке, который мы зовем браком.

Сомнений нет, я был обманут! Меня соблазнила замужняя женщина, и я был вынужден на ней жениться, чтобы прикрыть ее беременность и тем самым спасти ее театральную карьеру. По брачному договору у нас раздельное владение имуществом и паритетное участие в текущих расходах, но после десяти лет брака я оказался разоренным, ограбленным, потому что один обеспечивал семью. И теперь, когда моя жена гонит меня прочь, как ничтожество, не способное даже содержать свой дом, и рассказывает всем, что я соблазнитель и растратчик ее воображаемого состояния, она в действительности должна мне сорок тысяч франков, составляющих ее долю, в соответствии с договоренностью в день нашего бракосочетания в церкви.

Она – моя должница!

Решив выяснить все до конца, я встал, вернее, вскочил с постели, как тот парализованный из Евангелия, отбросил воображаемые костыли и торопливо оделся, чтобы поскорее увидеть жену.

Сквозь приоткрытую дверь взору моему предстала прелестная картина. Она лежала на разобранной постели, ее красивая головка утопала в белых подушках, по наволочке рассыпались змейками растрепанные волосы цвета пшеницы, а плечи, выскользнувшие из кружевной рубашки, свидетельствовали о девственной упругости груди. Под мягкой периной в бело-красную полоску угадывалось хрупкое изящное тело и крошечные ножки безупречных линий, а их розовые пальчики венчались совершенными по форме, прозрачными ногтями. Она подлинный шедевр, сделанный из живой плоти по образцам античных мраморных статуй. Исполненная целомудренного счастья материнства, она с беззаботной улыбкой глядела на своих троих пухлых малышей, которые взбирались к ней на кровать, утопая в полосатой перине, как в стоге только что скошенных цветов.

Обезоруженный этим дивным зрелищем, я сказал себе: «Берегись, когда пантера играет со своими детенышами».

Укрошенный, покоренный ее величеством матерью, я вошел нетвердой походкой, робея, будто школьник.

– Вот ты и встал, милый! – приветствовала она меня с удивлением, но без той радости, которую мне хотелось бы увидеть.

Я начал что-то запутанно объяснять, не в силах отдышаться из-за детей, которые полезли мне на спину, когда я нагнулся, чтобы поцеловать мать. «Неужели она преступница?» – спрашивал я себя уже у двери, побежденный оружием благопристойной красоты, чистосердечной улыбкой этого рта, который никогда не был осквернен ложью. Нет, тысячу раз нет!

Итак, я удалился, убежденный в ее невинности, но тут же меня одолели жестокие сомнения. Почему мое выздоровление, на которое уже не было ни малейшей надежды, оставило ее равнодушной? Почему она не осведомилась, как протекала моя лихорадка, не поинтересовалась подробностями минувшей ночи? И чем объяснить это выражение чуть ли не разочарования на ее лице, пожалуй, даже неприязненного удивления, когда она увидела меня живым и здоровым, и эту насмешливую снисходительную ухмылку, исполненную чувства превосходства! Уж не питала ли она слабой надежды обнаружить меня нынче утром мертвым и тем самым освободиться от безумца, который делал ее жизнь невыносимой? Она получила бы жалкую тысячу франков страховки, но они помогли бы ей проложить новый путь к своей цели. Нет, тысячу раз нет!

И все же сомнения терзали меня, сомнения во всем – и в честности жены, и в моем отцовстве, и в моем душевном здоровье, они впились в мой мозг, словно гвозди, не давая ни отдыха, ни срока.

Во всяком случае, с этим состоянием надо было покончить, положить решительный предел этим опустошающим мыслям. Я должен наконец узнать правду или умереть. Либо здесь скрывается преступление, либо я сошел с ума. Мне остается одно – выяснить правду. Обманутый муж! Ну и пусть, лишь бы только знать, чтобы спасти себя юмором висельника! Есть ли на свете мужчина, уверенный в том, что он единственный избранный? Окинув мысленным взором всех друзей моей юности, ныне женатых, я выискал только одного, которому не изменяла жена, остальные же, счастливики, ни о чем не подозревают. Ах эти счастливики. Стоит ли быть мелочным? Один ли ты владеешь женщиной или делишь ее с кем-то, какая разница! Но не знать этого смехотворно. Главное – знать! Живи иной муж хоть сто лет, он все равно ничего не узнает о жизни своей жены. Он может постигнуть законы общества, вселенной, но о той, которая связана с его жизнью, он все равно не будет иметь ни малейшего представления.

Вот почему этот несчастный господин Бовари так крепко засел в памяти всех счастливых супругов. Но я желаю знать! Знать, чтобы отомстить. Да полноте, что за глупости! Кому мстить? Счастливым избранныкам? Но они лишь воспользовались своим правом самца. Или жене? О, не надо быть мелочным. Да и как можно губить мать этих ангелочков? Об этом и речи быть не может.

Но мне непременно надо знать. И с этой целью я решил произвести расследование, глубокое, тайное, научное, если угодно, используя при этом все возможности психологии, не пренебрегая ни внушением, ни чтением мыслей, ни нравственными пытками и не гнушаясь также взломами и кражами, перехватом писем, фабрикацией фальшивок, подделкой подписей – одним словом, ничем. Что это – навязчивая идея, одержимость маньяка? Не мне об этом судить. Пусть просвещенный читатель бесстрастно произнесет свой приговор, прочитав эту чистосердечную книгу. Бьль может, он обнаружит в ней зачатки физиологии любви, крохи патопсихологии, а также немного философии преступления.

Часть первая

Тринадцатое мая 1875 года. Стокгольм. Я и сейчас вижу себя в просторном зале Королевской библиотеки, занимающей целое крыло дворца. Этот двусветный зал, стены которого обшиты потемневшим от времени буком цвета хорошо обкуренной пенковой трубки, украшен рокальными картушами, резными гирляндами, цепями, гербами и опоясан на уровне второго этажа галереей с витыми тосканскими колонками, а если глядеть на него с этой галереи, то он кажется бездонной бездной. Сотни тысяч книг, стоящих на полках, подобны гигантскому мозгу, хранящему мудрость ушедших поколений. Плотные шеренги книжных шкафов трехметровой высоты разделены на два отдела проходом, подобным аллее, пересекающим зал из конца в конец. Солнечные лучи проникают сюда из дюжины окон и играют на корешках тесно уставленных томов: пергаментных, с золотым тиснением – эпохи Возрождения, из черной кордовской кожи с серебряными накладками – XVII века, из телячьей шкуры с киноварным обрезом – XVIII века, и современных, из зеленого имперского шевро или простых, из обычного картона. Богословы соседствуют здесь с чернокнижниками, философы – с естествоиспытателями, историки – с поэтами. Спрессованные мысли всех эпох образуют как бы геологический срез, свидетельствующий об эволюции как человеческой глупости, так и человеческого гения.

Я и сейчас вижу, как стою там на галерее и разбираю груды книг, полученных библиотекой в дар от одного знаменитого библиофила, который оказался настолько предусмотрительным, что обеспечил себе бессмертие, наклеив на каждый шмуцтитул свой экслибрис с девизом: *Speravit infestis*¹.

Суеверный, как все атеисты, я был под впечатлением этого изречения, которое вот уже целую неделю попадаете мне на глаза, как только я открываю какую-нибудь книгу. Этот господин, потомок шести епископов, не терял надежды в превратностях судьбы, и это было для него великое благо. А вот я потерял всякую надежду пристроить мою трагедию в пять актов, шесть картин и три перемены, а чтобы продвинуться по службе, мне надо было похоронить целых семь сверхштатных сотрудников библиотеки, так и пышущих здоровьем, притом четверо из них уже имели оклад.

Когда ты в двадцать восемь лет получаешь мизерное жалованье в двадцать франков в месяц, да еще у тебя в мансарде валяется трагедия в пять актов, то легко впасть в современный пессимизм, этот обновленный скептицизм, но только приспособленный для неудачников, как компенсация за то, что не каждый день удастся пообедать и приходится носить выдавший виды плащ.

Я был действительный член ученой богемы, скроенный по патронке старой артистической богемы, сотрудник серьезных газет и многословных журналов, где плохо платят, акционер анонимного общества по переводу «Философии бессознательного» Эдуарда Гартмана, а кроме того, член тайной лиги сторонников свободной, но не бесплатной любви, обладатель весьма неопределенного титула королевского секретаря и автор двухактной пьесы, которую играли в Королевском театре, и при всем этом мне стоило немалых трудов раздобывать пищу, необходимую для поддержания своего убогого существования. Таким образом, неудивительно, что я невзлюбил жизнь, но это вовсе не значит, что я не хотел больше жить, совсем наоборот, я из кожи вон лез, чтобы тянуть подольше это свое запутанное существование и продолжить себя и свой род. Надо признаться, что пессимизм, буквально понимаемый лишь непосвященными – его путают с ипохондрией, – позволяет на самом-то деле весьма бодро и утешительно глядеть на окружающий тебя мир. Поскольку все есть в конечном счете ничто и имеет лишь относительную ценность, то выходит, волноваться решительно не из-за чего. Поскольку истина также

¹ Надейся и в горе (*лат.*).

понятие не абсолютное и зависит от предлагаемых обстоятельств – ведь недавно открыли, что вчерашняя истина превращается в завтрашнюю ложь или глупость, – то стоит ли тратить свои юные силы на открытие новой лжи или глупости? Поскольку несомненной является только смерть, то давайте жить. Для кого, для чего? Реставрация старых порядков, которые были упразднены в конце прошлого века, завершилась у нас восшествием на престол Бернадота, разочаровавшегося якобинца, а поколение тысяча восемьсот шестидесятого года, к которому и я принадлежу, поняло, что все его надежды напрасны, как только произошла парламентская реформа, объявленная с таким шумом. Две палаты, сменившие прежние четыре, состояли в основном из крестьян, и сейм превратился в своего рода муниципальный совет, где они собирались по взаимному соглашению обсуждать всякие мелкие расходы, оставляя в стороне все вопросы прогресса. Политика явилась нам как некий компромисс между общественными и личными интересами, а от последних остатков веры в то, что тогда называлось идеалом, у нас остались лишь горькие принципы, которых мы и придерживались. Добавим к этому и религиозную реакцию после смерти Карла XV, в период влияния королевы Софии Нассауской, и тогда мы найдем для просвещенного пессимизма причины не только личного характера.

Тем временем, задохнувшись от книжной пыли, я открываю окно, выходящее на Двор Львов, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом и полюбоваться видом. Сирень цветет, ее ветки колышет легкий ветерок, несущий тополиный пух, жимолость и дикий виноград уже начали обвивать решетчатую ограду, но акация и платаны не спешат, зная о капризах мая. И все-таки это уже весна, хотя остовы деревьев и кустов еще виднеются под молодой листвой. Над балюстрадой из колонок, увенчанных дельфтскими фаянсовыми вазонами с синими монограммами Карла XII, высятся у причала мачты пароходов, расцвеченных сигнальными флагами в честь майского праздника. Еще дальше виднеется бутылочно-зеленая вода бухты, стиснутой с двух сторон берегами, поросшими лиственными и хвойными деревьями. Все суда на рейде тоже украшены национальными флагами, символизирующими разные страны: английский флаг с красным, как не прожаренный ростбиф, полем; испанский желто-алый флаг, подобный полосатым тентам мавританских балкончиков; звездный тик флага Соединенных Штатов; веселое французское трехцветье соседствует с унылым, вечно траурным флагом Германии с трезцовым тузом у древка; датский флаг, напоминающий дамскую блузку, и опрокинутая трехцветка флага Российской империи. Все это чуть ли не впритык друг к другу раскинуто на темно-синей скатерти северного неба. Грохот экипажей, трели свистков, перезвон корабельных рынд, скрип подъемных кранов. Запахи машинного масла, селедки, сыромятной кожи, колониальных пряностей, смешанные с ароматом сирени и освеженные дуящим с моря восточным ветром, который приносит с собой суровое дыхание плавучих льдин Балтики.

Повернувшись спиной к книгам, я высунулся из окна, чтобы омыть в этой ванне впечатлений все мои пять чувств, и как раз в этот момент духовой оркестр дефилирующего караула грянул марш из «Фауста». Музыка, флаги, синее небо, цветы – все это меня настолько опьянило, что я не заметил, как пришел посыльный, принес почту. Он похлопал меня по спине, вручил мне письмо и тут же исчез.

Это было письмо от женщины. Я нетерпеливо распечатал его, почуяв, что оно принесет мне удачу. Принесет наверняка!

«Назначаю вам свидание сегодня после обеда, ровно в пять часов, перед домом номер 65 на улице Регентства. Знак, чтобы вы меня узнали: свернутые в трубочку ноты».

Совсем недавно меня обманула одна юная дьяволица, она очень ловко провела меня, поэтому я был готов на любое приключение, без разбора, заранее поклявшись себе не огорчаться в случае неудачи. И все же это письмо было мне неприятно своим тоном, слишком уж уверенным, чуть ли не повелительным, который оскорблял мое достоинство самца. Как это неизвестная мне особа посмела так внезапно напасть на меня, не оставляя никаких путей к отступлению. Хорошего же мнения эти дамочки о нашей мужской добродетели, нечего сказать!

Они, видите ли, не разрешения спрашивают, а повелевают нами. К тому же я был приглашен сегодня после обеда поехать с компанией за город, так что у меня решительно не было никакой охоты вдвоем прогуливаться среди бела дня по центральной улице. Тем не менее ровно в два часа пополудни я отправился на встречу со своими товарищами, которая была назначена в лаборатории нашего химика. В передней уже толкались магистры и кандидаты всевозможных наук, в том числе и философских и медицинских, и всем им не терпелось поскорее узнать подробности относительно предстоящего кутежа.

Выслушав мои извинения по поводу того, что я не смогу нынче вечером составить им компанию, собравшиеся потребовали, чтобы я изложил причины, мешающие мне участвовать в вечерней оргии. Я показал полученное письмо одному зоологу, который, как считалось, собаку съел в такого рода делах, но тот лишь покачал головой и изрек следующую сентенцию:

– Пустое!.. Дело пахнет браком, семейным очагом, а не продажной любовью... Впрочем, поступай как знаешь. Пойди туда, потом приезжай с нею к нам в парк, если будет охота, а она окажется не такой, как я полагаю.

Таким образом, в указанный час я стоял на тротуаре в условленном месте, ожидая появления прекрасной незнакомки.

Свернутые в трубочку ноты – это нечто вроде брачного объявления в газете. И я колебался, подойти ли мне, когда увидел женщину, первое впечатление от которой было – для меня это важно – крайне неопределенным. Неопределенным мне показался ее возраст, может, двадцать девять, но может – и сорок два, и причудливая одежда – ее равным образом можно было принять за артистку и за синий чулок, за маменькину дочку и за девицу, лишенную предрассудков, за эмансипированную барышню и за кокетку. Она представилась мне как невеста одного моего давнишнего приятеля – оперного певца, который пообещал ей мое покровительство, что, как выяснилось в дальнейшем, было ложью.

Она разыгрывала из себя эдакую беспрестанно щебечущую пичужку и уже через полчаса принялась верить мне все, что чувствует и думает, но поскольку меня это нимало не интересовало, я спросил у нее, чем могу быть ей полезен.

– Мне выступать в роли наставника молодой барышни?! Да неужто вы не знаете, что я дьявол во плоти?

– Вам нравится так думать, но мне про вас все известно, – возразила она. – На самом деле вы просто-напросто несчастны и вас надо спасти от черной меланхолии.

– Ах, вот, значит, как! Вы полагаете, что видите меня насквозь, а в действительности вы знаете лишь устаревшее мнение, которое сложилось на мой счет у вашего жениха.

На эту фразу ей возразить было нечего. Но она оказалась в курсе всего и считала, что и на расстоянии умеет читать в сердце мужчины. Она была одной из тех прилипчивых натур, которые жаждут власти над умами и проникают ради этого в самые потаенные уголки души своих знакомцев. Она вела огромную переписку, забрасывая письмами всех мало-мальски известных людей, давала им советы, подстегивала честолюбие у тех, кто помоложе, и мнила, что решает чьи-то судьбы. Она жаждала власти и поэтому объявила себя спасительницей заблудших душ, всем покровительствовала и полагала, что именно ей предначертано судьбой заняться моим спасением. Короче говоря, она была чистокровной интриганкой, обладающей небольшим умом, но огромной женской смелостью.

Я взялся подтрунивать над ней, не щадя при этом ни свет, ни людей, ни самого Господа Бога. Тогда она объявила, что я насквозь прогнул.

– Да помилуйте! Мои свежие мысли, мысли нового времени кажутся вам прогнившими, а ваши, взятые напрокат из ушедшей эпохи, все то, что еще в дни моей юности казалось отжившим и набило всем оскомину, представляются вам чуть ли не откровением. Вы подаете мне консервы в плохо запаянных жестяных банках, а воображаете, что это свежайшие плоды. Увы, они уже дурно пахнут.

Она пришла в ярость и, вконец сбита с толку, резко со мной попрощалась.

Инцидент был исчерпан, и я тут же направился в парк, где уже кутили мои приятели, и мы провели всю ночь без сна.

На следующее утро, когда я вознамерился было опохмелиться, мне опять принесли письмо, полное женского чванства, но и снисходительности, изобилующее упреками, выражениями сочувствия и пожеланий скорейшего душевного выздоровления, в конце же она назначала мне новое свидание, чтобы совместно навестить престарелую матушку моего друга.

Как светский человек, я был готов вытерпеть и это новое испытание, и, чтобы отделаться, как говорится, малой кровью, я напялил на себя маску полнейшего равнодушия к миру, Богу, да и ко всему остальному тоже.

Что это была за встреча! В отороченном мехом, стянутом в талии платье и шляпе а-ля Рембрандт, она выглядела на редкость привлекательно, вела себя с нежностью старшей сестры и сама избегала всех опасных тем. Таким образом, благодаря нашим взаимным усилиям угодить друг другу, между нами завязался не только оживленный, но и приятный разговор.

После визита к матери моего друга мы пешком пошли домой по весенним улицам.

То ли в силу некоего дьявольского промысла, то ли от желания взять реванш, поскольку накануне я играл омерзительную роль исповедника, я сказал ей, что почти обручен, что, впрочем, было лишь полужошью, так как я усиленно ухаживал за одной молодой особой.

В ответ она, будто старуха, принялась сочувствовать этой бедной девице, расспрашивать меня об ее характере, внешности, занятиях, общественном положении. Я набросал ее портрет с целью вызвать ревность, в результате чего наш дружеский разговор как-то сник. Оно и понятно – как только ангел-хранитель пронюхал о существовании соперницы, его интерес ко мне явно ослаб. И мы расстались, так и не преодолев возникшего между нами холода.

Свидание, тем не менее назначенное на следующий день, было заполнено разговорами о любви и о моей так называемой невесте.

Ей достаточно было недели, которую мы провели, гуляя или бегая по театрам и концертам, чтобы на правах своего рода наперсницы незаметно просочиться в мою жизнь. Наши ежедневные встречи включались в мой распорядок дня, и я уже не мог без них обойтись. В разговорах с образованной женщиной есть особое, чуть ли не чувственное наслаждение – прикосновение душ, объятия умов, интеллектуальные нежности.

В одно прекрасное утро она явилась ко мне глубоко взволнованная и стала цитировать наизусть пассажи из письма жениха, полученного накануне. Как выяснилось, он ее бешено ревновал. И тогда она призналась мне, что, встретившись со мной, действовала против его воли, потому что он настоятельно просил ее избегать меня, видимо, инстинктивно предчувствуя, что наша встреча к добру не приведет.

– Я не понимаю этой ужасной ревности, – сказала она мне с подавленным видом.

– Потому что вы ничего не понимаете в любви, – ответил я ей.

– Любовь!

– Да, любовь, которая есть не что иное, как возвышенное чувство собственности, а ревность – это страх потерять то, что так дорого.

– Фи, какая гадость! Собственность!

– Видите ли, это взаимная собственность. Возлюбленные принадлежат друг другу.

Она не желала так воспринимать любовь. Любовь – это чувство бескорыстное, возвышенное, целомудренное, которое невозможно выразить.

Хотя ее нареченный был от нее без ума, она его явно не любила, о чем я ей без обиняков и сказал.

Она пришла в страшное возбуждение и тут же призналась, что не любила его никогда.

– И вы намерены выйти за него замуж?

– Естественно. Иначе он пропадет.

Ясно, она ведь занимается спасением душ.

Она злилась все больше и стала меня уверять, что никогда не была его невестой.

Оказалось, что лгали мы оба. Какое везенье!

Мне оставалось лишь объяснить с ней, заверив, что и моя помолвка тоже выдумка. Мы имели полную возможность воспользоваться нашей свободой.

Но как только она перестала ревновать, игра возобновилась с новой силой. Я письменно признался ей в любви, и она тут же запечатала мое письмо в конверт и отослала его своему бывшему возлюбленному, который незамедлительно принялся оскорблять меня при помощи почтовых отправок.

Тогда я потребовал от нашей прелестницы, чтобы она сделала свой выбор и остановилась на одном из нас. Но это никак не входило в ее намерения, ей хотелось выбрать нас обоих, а если можно, то троих, четверых, чем больше, тем лучше, лишь бы они валялись у ее ног и молили о праве ее обожать.

Мое мнение сложилось окончательно: она была кокетка, пожирательница мужчин, целомудренная полигамистка. И все же я влюбился в нее, поскольку мне опостылела продажная любовь и наскучило одиночество в моей мансарде.

К концу ее пребывания в столице я пригласил ее посетить библиотеку с намерением ослепить ее, покрасоваться перед ней в обстановке, которая не могла не оказать на нее подавляющего впечатления, несмотря на ее птичьи мозги и высокомерную манеру держаться. Я таскал ее из галереи в галерею, демонстрируя свои библиографические знания, заставлял любоваться средневековыми миниатюрами, автографами знаменитых людей, излагал важнейшие исторические эпизоды, описанные в хранящихся здесь манускриптах, показывал инкунабулы, и в конце концов она почувствовала неловкость от сознания своего невежества.

– Да вы же настоящий ученый! – воскликнула она.

– Конечно.

– Бедный актеришка, – пробормотала она, вспомнив своего несостоявшегося жениха.

Казалось, можно не сомневаться, что актер отныне отвергнут раз и навсегда. Однако ничуть не бывало. Лицедей грозил мне в письмах револьвером, обвиняя меня в том, что я похитил у него возлюбленную, которую он, несчастный, отдал под мою защиту. В своем ответе я дал ему понять, что ничего у него не похищал, да он и не мог мне ничего доверить, поскольку сам ничем не располагал. На этом наша переписка прекратилась, и установилось молчание.

Приближался день ее отъезда. Накануне нашей прощальной встречи я получил от нее взволнованное письмо, в котором она сообщала мне о моей необычайной удаче. Оказывается, она прочитала мою трагедию каким-то своим знакомым из высшего общества, у которых большие связи в дирекции театра. Пьеса произвела такое сильное впечатление на указанных господ, что они выразили желание непременно познакомиться с автором. Все подробности она мне расскажет при встрече нынче в полдень.

В назначенный час она потащила меня по магазинам, чтобы сделать последние покупки, не прекращая при этом рассказывать о состоявшейся читке пьесы. Хорошо зная мое отвращение ко всяким покровителям, она пускала в ход самые веские аргументы, чтобы меня переубедить. А я отбивался как мог:

– Но, дорогая, мне отвратительно звонить в чужие двери, представлять перед незнакомыми людьми, болтать о чем попало, только не о главном, и просить, словно нищий, о помощи того или другого из сильных мира сего...

Я не успел договорить своей тирады, как она вдруг остановилась перед молодой дамой, одетой с изысканной элегантностью. Она представила меня госпоже баронессе N, которая произнесла несколько фраз, но я их едва разобрал из-за шумной толпы, наводнившей тротуар. Я пробормотал в ответ несколько бессвязных слов, досадуя, что попал в западню, подстроенную этой хитрой бестией. Заговор, да и только.

Баронесса ушла, повторив приглашение, которое мне уже успела передать моя пассия.

Эта молодая женщина поразила меня своим обликом, тем, что у нее был вид девчонки, чуть ли не ребенка, хотя я знал, что ей уже исполнилось двадцать пять лет. Головка школьницы, прелестное личико, обрамленное непокорными колечками светлых волос цвета спелой пшеницы, плечи принцессы, талия гибкая, как лоза, и особая манера склонять головку, выражая этим одновременно искренность, почтительность и свое превосходство. И представьте себе, эта юная мать- девственница осталась жива-здорова после пережитой мною трагедии!

Жена гвардейского капитана, мать трехлетней дочки, она безумно увлеклась театром, не имея при этом никакой надежды попасть на сцену из-за того, что ее муж и, еще в большей степени, свекор, назначенный камергером двора, занимали слишком высокое положение в обществе.

Вот как обстояли дела, когда пароход развеял мои майские грезы, увозя мою красавицу к лицедею, который с того времени присвоил себе все мои права и, в частности, забавлялся тем, что вскрывал мои письма к его любимой в отместку, видимо, за подобные мои поступки по отношению к его эпистолам, которые мы еще недавно вместе читали во время наших с ней встреч.

На трапе парохода, во время нашего нежного прощания, она заставила меня поклясться, что я навещу баронессу в самые ближайшие дни, и все точки над «i» были поставлены.

После того как прекратились наши встречи, столь непохожие своими романтическими мечтаниями на залихватские дебоши ученой богемы, осталась пустота, которую необходимо было чем-то заполнить. Дружба с женщиной своего круга, отношения между двумя личностями разного пола вновь пробудили во мне готовность в утонченном общении, давно искорененную у меня семейными неурядицами.

Чувство очага, убитое жизнью в кафе, вдруг опять расцвело от общения с женщиной очень обыденной, но честной в самом вульгарном смысле этого слова. В результате всего этого я однажды вечером около шести часов оказался перед дверью дома, расположенного на Северном бульваре.

Какое фатальное совпадение! Это оказался мой родной дом, где я провел самые тяжкие годы своего отрочества, пережил тайные бури мужского созревания, смерть матери, приход в дом мачехи. Мне вдруг стало так плохо, что захотелось повернуть назад и бежать без оглядки из страха, что на меня снова нахлынут все горести детских лет. Двор ничуть не изменился, он был точь-в-точь таким, как прежде: те же огромные ясени. О, сколько весен кряду я с нетерпением ждал появления первых зеленых листиков на их ветвях! Мрачный дом нависал над обрывом песчаного карьера, и угроза обвала, ожидаемого уже многие годы, заставила хозяев снизить квартирную плату.

Несмотря на чувство подавленности, вызванное тяжелыми воспоминаниями, я взял себя в руки, вошел в подъезд, поднялся по лестнице и позвонил. Услышав звонок, я представил себе, что мне сейчас откроет отец. В проеме двери появилась прислуга и тут же исчезла, чтобы доложить о моем приходе. Мгновенье спустя вышел барон и приветствовал меня самым сердечным образом. На вид ему можно было дать лет тридцать, он был высокого роста, правда несколько тучен, но благородной осанки и отличался изысканно светскими манерами. Его большое, чуть одутловатое лицо освещалось ярко-синими глазами, взгляд которых, однако, показался мне печальным, так же как и его улыбка, переходящая в горькую усмешку, за которой, видно, скрывались пережитые разочарования, неосуществленные намерения и несбывшиеся надежды.

Гостиная – та комната, где у нас в свое время помещалась столовая, – была обставлена не без артистизма, но несколько небрежно. Барон носил фамилию не менее прославленную в отечественной истории, чем Конде или Тюрен во Франции, и смог, в силу этого, собрать коллекцию семейных портретов времен Тридцатилетней войны. Со стен глядели господа в отли-

вающих серебром латах и в париках а-ля Людовик XIV на фоне пейзажей в духе дюссельдорфской школы. Со старинной мебелью, заново отполированной и позолоченной, соседствовали вполне современные стулья и пуфы, и все это было расставлено таким образом, что в просторной гостиной, которая так и дышала теплом, уютом и семейным покоем, не было ни одного пустого уголка.

Вошла баронесса. Она показалась мне прелестной, сердечной, простой, приветливой. Но я почувствовал в ней какое-то напряжение, едва уловимое смущение, что ли, которое меня сковывало, пока я не догадался о его причине.

Шум, доносящийся до нас из соседней комнаты, свидетельствовал о присутствии гостей. И в самом деле, там собрались родственники молодых супругов, чтобы играть в вист. Минуту спустя я уже был в обществе четырех членов их семьи: камергера, капитана в отставке, матери и тетки баронессы.

Как только старшее поколение уселось за игорный столик, между нами, представителями, так сказать, молодежи, завязался разговор. Барон признался в своем пристрастии к живописи, рассказал, что в юности учился в Дюссельдорфе, получив стипендию от покойного короля Карла XV. Так я нащупал отправную точку для установления контактов, поскольку и я был бывшим стипендиатом этого короля, как драматический автор.

И завязался разговор о живописи, театре, личности нашего покровителя. Однако постепенно наш пыл поостыл, возможно, из-за присутствия пожилых людей, которые время от времени вступали в наш разговор, всякий раз внося какой-то разноречивый или касаясь заведомо больных мест, так что вскоре я почувствовал себя сбитым с толку и растерянным в такой разношерстной компании.

Я встал, чтобы откланяться. Барон и баронесса вышли в прихожую меня проводить, и как только они очутились вне поля зрения старших, они словно скинули с себя маски и пригласили меня отобедать у них в следующую субботу в узкой компании. Мы поболтали еще несколько минут на лестничной площадке и расстались друзьями.

В указанный день я явился в три часа на Северный бульвар. Меня приняли как старого друга и сразу же ввели в курс их семейной жизни. Интимный обед шел под аккомпанемент взаимных исповедей. Барон, недовольный своим положением, принадлежал к противникам нового режима, установившегося после восшествия на престол короля Оскара. Невероятная популярность его умершего брата вызывала у того чувство ревности, и, оказавшись у власти, он старался отодвинуть в тень всех, кого приветал его предшественник. Таким образом друзья старого режима, отличавшегося духом терпимости, весельем, стремлением к прогрессу, оказались все в лагере просвещенной оппозиции, но они, однако, не участвовали в низменной борьбе политических партий.

Эти разговоры пробудили воспоминания об ушедших временах, и, таким образом, наши сердца нашли путь друг к другу. Все мои давнишние предубеждения мелкого буржуа насчет высшего дворянства, которое отстранилось от дел после парламентской реформы 1865 года, тут же рассеялись, более того, возникла симпатия, смешанная с жалостью к тем, кого лишили былого величия.

Баронессу, по происхождению финку, иммигрировавшую лишь недавно, наши излияния не волновали, она была вне этих проблем, но как только обед был закончен, она села за рояль и стала услаждать наш слух песенками, а потом мы с бароном, взявшись за исполнение дуэтов Веннерберга, неожиданно обнаружили у себя талант, и время пролетело незаметно. Мы решили прочесть вслух пьеску, недавно сыгранную в Королевском театре, соответственно распределив ее по ролям.

После всех этих разнообразных развлечений образовалась пауза, которая обычно возникает, когда слишком быстро выдыхаешься из-за чрезмерных усилий показать себя в самом

выгодном свете и завоевать друг друга. Меня охватила та же апатия, что во время нашей первой встречи, и я умолк.

– Что с вами? – спросила баронесса.

– Здесь водятся привидения, – объяснил я. – Вы же знаете, я жил в этой квартире век назад, да, целый век прошел, раз я уже такой старый.

– И мы не в силах прогнать этих призраков! – воскликнула она с материнской нежностью.

– Есть лишь одно существо на свете, – вставил барон, – способное развеять черные мысли. Я ведь не ошибся, вы жених мадемуазель Х?

– Да что вы, барон, я остался с носом.

– Как же так? Неужели она дала слово другому? – удивилась баронесса.

– Лучше не спрашивайте!

– Как жаль! Эта юная особа – настоящая находка, и я не сомневаюсь, что, уж во всяком случае, она к вам привязалась.

Тут я стал поносить бедного лицедея. И мы все вместе обрушились на злосчастного певца, который вознамерился заставить молодую девушку полюбить его, не считаясь с ее желанием, и в конце концов баронесса заверила меня, что во время своей поездки в Финляндию, которая должна вскоре состояться, она все уладит.

– Этому не бывать! – заявила она в гневе от мысли, что такую девушку хотят принудить к браку, хотя ее симпатии отданы другому.

Около семи часов вечера я встал, чтобы уйти, но меня так горячо упрасивали остаться, что я заподозрил недоброе: видимо, в этом браке, который длится всего три года и благословен появлением маленького ангелочка, царит скука.

На ужин ждали кузину баронессы, и им очень хотелось, чтобы и я остался, их интересовало мое мнение об этой девушке.

Во время всех этих переговоров прислуга принесла письмо и подала его барону. Он открыл конверт, тут же прочел письмо и, бормоча какие-то резкие слова, протянул жене.

– В это просто нельзя поверить! – воскликнула она, пробежав его глазами.

И, видимо желая продемонстрировать всю меру дружеского ко мне расположения, баронесса, поглядев на мужа и дождавшись одобрительного кивка, стала вслух выражать свое возмущение:

– Подумать только, ведь это моя двоюродная сестра! Мой дядя и моя тетя, представьте себе, запрещают своей дочке ходить к нам, потому что в свете кто-то распространяет сплетни о моем муже!

– Уму непостижимо! Она же еще ребенок, милая, невинная, несчастная девочка, ей хорошо с нами, молодоженами, мы ее союзники, и этого оказалось достаточно, чтобы дать повод к злословью.

Возможно, скептическая улыбка выдала меня. Так или иначе, первый пыл возмущения угас, на его месте возникла какая-то растерянность, которую они пытались скрыть, предложив мне прогуляться по саду.

После ужина, часов в десять вечера, я попрощался уже окончательно и ушел, размышляя о том, что мне довелось увидеть и услышать за этот столь вещей для всего дальнейшего день.

При всей видимости счастья молодых супругов и несмотря на нежность их отношений, создавалось впечатление, что в доме, так сказать, спрятан труп. Озабоченные взгляды, сосредоточенность каждого на своем, оброненные намеки свидетельствовали о каком-то тайном горе, и я угадывал существование семейных секретов, раскрытие которых меня страшило. «Почему, – рассуждал я, – они удалились от света, почему сами сослали себя в этот тихий уголок городской окраины?» Они напоминали мне людей, потерпевших кораблекрушение, так непомерно они радовались, что нашли хоть кого-то, кому тут же можно излить душу.

Особенно меня интриговала баронесса. Пытаясь воссоздать ее образ, я был поставлен в тупик сложностью сочетания самых разных черт, в которых мне нелегко было разобраться. Она была одновременно доброй, ласковой и жесткой, экспансивной, исполненной энтузиазма и крайне сдержанной, холодной и пылкой, казалось, ее терзают какие-то мрачные мысли или она вынашивает честолюбивые мечты. Хотя она и не блистала умом, она отнюдь не была ничтожеством и заставляла с собой считаться. Баронесса поражала худобой, будто она сошла с иконы византийского письма, и платье на ней ниспадало естественными и величественными складками, такими, какие рисуют на изображениях святой Цецилии. Сложена она была просто безупречно, изысканная красота ее рук и запястий приковывала взгляд. Время от времени несколько ожесточенные черты ее бледного миниатюрного личика вдруг озарялись вспышками безудержного веселья. Мне трудно было решить, кто из супругов верховодит в этом браке. Он, как солдат, привык командовать, но в силу своей конституции казался вялым и был покорным скорее от врожденного равнодушия, чем от отсутствия воли. Обращались они друг с другом вполне дружески, но без порывов, присущих первой любви, и мое появление на их сцене было, судя по всему, как нельзя более кстати, потому что уже назрела потребность освежить свои чувства, воскрешая для кого-то картины прошлого. Подводя итоги своим впечатлениям, я решил, что живут они лишь крохами прошлого и уже скучают вдвоем. Доказательством тому были те чересчур частые приглашения, которые, как из рога изобилия, посыпались на меня после того обеда.

В канун отъезда баронессы в Финляндию я отправился попрощаться. Стоял теплый июньский вечер, когда я вошел к ним во двор. Баронессу я застал в саду среди кустов кирказона. Она была в белом и из-за садовой ограды показалась мне неземным существом, ослепляющим какой-то невообразимой красотой. Ее белоснежное платье из пике, отделанное русскими кружевами – чудо мастерства какой-нибудь крепостной, – являлось подлинным шедевром. К тому же на ней были ожерелья, серьги и браслеты из алебастрового стекла, излучавшего какой-то особый свет, напоминающий мерцание свечи в стеклянном шаре, разукрашенном вытравленным царской водкой орнаментом. Этот теплый свет буквально озарял ее лицо с блестящими, черными как антрацит глазами, в то время как отсветы зеленых листьев трагическими тенями подчеркивали белизну ее щек и лба.

Да, ее облик потряс меня до глубины души, словно виденье. Жажда обожествления, так присущая мне, но загнанная на самое дно моего сознания, вдруг вырвалась наружу и заполнила зияющую пустоту моей души. Религиозность была мною теперь изжита, но потребность в преклонении осталась, хоть и обрела новую форму. Бог был предан забвению, но его место заняла женщина, девственница и мать одновременно. Глядя на дочку баронессы, которая стояла рядом, я не мог себе представить, что девочка рождена этой женщиной. Интимные отношения барона и его супруги я никогда не воспринимал как чувственные, связь их представлялась мне бестелесной. Вот с этой минуты баронесса и предстала предо мной воплощением чистого и недоступного духа, обитающего в теле редкостного совершенства. Я обожал ее такой, какой она была – женой и матерью, женой именно этого мужа и матерью этой девочки. Но чувство мое было чисто платоническим. Поэтому присутствие барона во время наших встреч казалось мне совершенно необходимым, без него я не испытал бы всей полноты счастья обожания. Ведь без мужа она была бы подобна вдове, а я решительно не уверен, что и тогда обожал бы ее с той же силой.

А будь она моей, иначе говоря, если бы она стала моей женой? Нет! Прежде всего такая святотатственная мысль не могла даже родиться в моей голове. А кроме того, став моей женой, она перестала бы быть женой своего мужа, матерью своего ребенка, хозяйкой этого дома. Нет, она должна быть только такой, какой она была, либо вообще никакой!

Короче, дело ли здесь в суровости воспоминаний, связанных с домом, в котором она жила, или в моих инстинктах выходца из низшего сословия, восхищающегося высоким про-

исхождением, чистотой голубой крови и теряющего уважение к обожаемому предмету, если он упадет со своего пьедестала, но ясно одно – благоговение, которое я испытывал к этой женщине, во всех отношениях смахивало на мою старую веру, от которой я только-только освободился. Благоговей, жертвовать собой, страдать, не имея при этом и тени надежды получить за это что-либо, кроме радости от благоговения, от готовности приносить жертвы и страдать.

Я стал для нее чем-то вроде ангела-хранителя, но при этом решил наблюдать за ней по возможности тайно, чтобы сила моей любви не увлекла бы ее в конце концов. Я тщательно избегал оставаться с ней наедине, чтобы между нами не возникло доверительного разговора, который мог бы нанести ущерб ее мужу.

Однако когда я увидел ее в саду, в канун отъезда, она была одна. Мы обменялись какими-то незначительными словами. Но внезапно мое волнение передалось ей, взгляд моих пылающих глаз, видно, вызвал у нее желание открыться мне. Она будет сожалеть, это она предчувствовала и, не таясь, мне поведала, что разлучилась, пусть и на такой короткий срок, с мужем и дочкой. Она заклинала меня проводить с ним все мое свободное время, да и о ней не забывать в те дни, когда она будет защищать мои интересы перед молодой финкой.

– Вы любите ее всем сердцем, не правда ли? – спросила она, не спуская с меня пытливого взгляда.

– Не спрашивайте меня! – ответил я, совершенно подавленный необходимостью лгать.

С того дня я уже не сомневался, что мое весеннее увлечение было не любовью, а выдумкой, капризом – словом, ничем.

Из страха замарать ее моей так называемой любовью, боясь невольно завлечь ее в паутину своих чувств, желая хоть как-то оградить ее от себя, я резко оборвал наш разговор и спросил, где барон. Она надула губки, должно быть поняв, что скрывается за моей резкостью. Возможно даже, теперь я подозреваю, что так оно и было, ее забавляло волнение, которое охватило меня при виде ее красоты. Возможно также, что именно в этот момент она осознала, какой страшной волшебной властью обладает над этим Иосифом, таким с виду холодным и вынужденным быть целомудренным.

– Вам скучно со мной, – сказала она. – Сейчас позову на помощь барона.

И звонким голосом она позвала мужа.

Окно их квартиры на втором этаже распахнулось, и в нем показалось крупное, мужественное лицо барона, который с улыбкой глядел на нас. Минуту спустя он уже стоял с нами в садике. В парадной форме королевской гвардии, в темно-синем, расшитом серебряным галуном и желтым шелком мундире он был поистине великолепен и прекрасно дополнял эфемерную ослепительно белую фигурку стоящей рядом жены. Как привлекательно выглядела эта чета, когда каждый лишь подчеркивал достоинства другого! Это было подобно блестящему спектаклю, истинному произведению искусства!

После ужина барон предложил мне проводить на следующий день баронессу, которая отправлялась на пароходе в Финляндию. Мы могли бы немного проплыть с ней и сойти на последней пристани перед таможней. Предложение это было мною принято, и баронесса, как мне показалось, обрадовалась, предвкушая удовольствие провести всем вместе летнюю ночь на палубе парохода, огибающего шхеры.

Таким образом, вечером следующего дня мы втроем оказались на пароходе, который в десять часов отошел от пристани. Ночь была светлой, море синим и спокойным, на небе еще не погасло оранжевое зарево. Мы проплывали мимо берегов, покрытых лесом и освещенных этим странным полудневным светом, и, глядя на небо, трудно было решить, что это – закат или рассвет.

После полуночи в наших восторгах, которые подогревались все меняющимися пейзажами и пробужденными воспоминаниями, наступила пауза, сон валил нас с ног, хотя мы и не хотели ему подчиниться. Лица, освещенные чуть брезжущим светом рождающегося дня,

были бледными, а от утреннего ветерка нам стало зябко. Нами вдруг овладела сентиментальность, мы решили, что будем навеки друзьями, что нас соединила сама судьба, и у всех троих возникло ощущение нерасторжимости нашей исполненной тайного смысла связи. Я был в то время хрупкого здоровья вследствие перенесенной лихорадки, выглядел, видимо, плохо из-за бессонной ночи, и они стали со мной обращаться как с больным ребенком. Баронесса укутала меня своей шалью из альпака, приказала пересесть, чтобы укрыться от ветра, налила мне из фляжки мадеры, разговаривала со мной, будто играя в дочки-матери, а я не возражал. От усталости я потерял всякий контроль над собой, мое сердце, до этого наглухо закрытое, вдруг распахнулось, и я, не привыкший к проявлениям женской нежности, секретом которой обладает только женщина-мать, принялся импровизировать, почтительно выражая свое обожание в поэтических грезах, которые могли родиться лишь в воспаленном от бессонницы мозгу. Все мои затаенные мечты этой ночи нашли вдруг свое воплощение, но воплощение туманное, расплывчатое, мистическое, а моя художественная фантазия, столь долго не имевшая выхода, порождала переменчивые, воздушные видения. Я говорил без умолку, час за часом, черпая вдохновение в жадно устремленных на меня глазах, улавливающих каждое движение моей души. Я чувствовал, как мое слабое тело пожирается бешено работающим мозгом, и постепенно терял ощущение своего телесного существования.

Встает солнце, и тысячи озаряемых им островков будто начинают плыть по глади залива, желтые, цвета серы, лучи отражаются в окнах прибрежных домишек и заставляют вспыхивать сосновые ветви яркой медью. Дымы из труб свидетельствуют о том, что кофейники уже стоят на плитах, рыбаки поднимают паруса на своих баркасах, чтобы отправиться к выходу из залива и вытянуть сети, и истошно орут чайки, чуя приближающиеся косяки салаки.

На пароходе все еще царит тишина, пассажиры спят в трюме, и только мы трое по-прежнему стоим на задней палубе. За нами из рубки наблюдает полусонный капитан, видимо, его разбieraет любопытство, о чем это люди могут говорить столько часов кряду.

В три часа утра из-за мыса появляется лодка лоцмана, которая нас разлучит.

Залив отделен от открытого моря лишь несколькими продолговатыми островами. Море бушует, и это уже чувствуется на пароходе, да и доносился гул волн, разбивающихся о последние крутые рифы.

Настала минута прощания. Они обнялись так горячо и порывисто, что невозможно было не разделить их печали. Потом она со слезами на глазах страстно сжала мою руку своими двумя, прося мужа обо мне позаботиться и одновременно умоляя меня утешать его во время его двухнедельного «вдовства».

Я наклонился и, не думая ни о неуместности этого жеста, ни о том, что невольно раскрываю свои тайные чувства, поцеловал ей руку. Тем временем машина заглохла, пароход остановился, и к его борту пришвартовалась лодка лоцмана. Я сделал два шага по сходням и оказался в лодке рядом с бароном.

Над нами возвышалась громада парохода, и мы увидели прелестную головку, склоненную над перилами палубы, ее детские глаза, полные слез, выражали печаль, но она одарила нас прощальной улыбкой.

Снова заработал корабельный винт, гигант двинулся вперед, на корме его развевался русский флаг. Нас начало качать на волнах, но мы продолжали махать платками, влажными от только что утертых слез.

А личико баронессы все уменьшалось, прелестные черты сливались, и нам видны были только ее огромные глаза, их взгляд, но потом и это исчезло. Секунду спустя мы различали лишь легкую синюю вуаль на японской шляпе и трепетавший на ветру батистовый платочек, потом – одно белое пятнышко, наконец, точку, и все, – от нас удалялось бесформенное чудовище, окутанное вонючим дымом.

Мы с бароном поднялись на причал, где находились контора лоцманов и таможня. Летом эту пристань переоборудовали под купальню. Деревня была еще погружена в сон, и на дебаркадере не было ни души. Мы постояли, провожая глазами пароход, пока он не повернул направо и не исчез за мысом, служащим бухте последней защитой от моря.

В тот миг, когда пароход окончательно скрылся, барон судорожно обнял меня, сотрясаясь от слез, и мы простояли так некоторое время, ни слова не говоря.

Бессонная ли ночь вызвала эти слезы? Или мрачные предчувствия? Или просто сожаление по поводу разлуки? И теперь еще я не в силах ответить на эти вопросы.

Молча, не проронив ни слова, уныло добрались мы до деревни в надежде выпить кофе. Но харчевня была еще закрыта, и нам пришлось пошататься по улицам. Двери всех домов были тоже заперты и жалюзи опущены. В конце концов мы вышли из деревни и оказались в пустынной местности на берегу узкого залива. Вода в нем была прозрачная, и мы решили умыться. Тогда я раскрыл свой несессер и вынул из него чистый платок, мыло, зубную щетку и флакон с одеколоном. Барон с насмешкой наблюдал за моими приготовлениями, однако был благодарен за удовольствие, которое я ему доставил, одолжив все необходимое, чтобы свершить свой туалет в таком непригодном для этого месте.

Когда же мы вернулись в деревню, я уловил запах дыма в прибрежном ольшанике. Жестом я указал барону, что это последний привет, который принес нам морской ветер от давно уже скрывшегося с глаз парохода. Но барон оставил это без внимания.

В харчевне на моего друга было жалко смотреть: он клевал носом, лицо отекло от бессонной ночи, вид у него был печальный. Между нами возникла какая-то натянутость, он был погружен в свои мысли и упорно молчал. Однако время от времени он дружески прикасался к моей руке, просил извинить его рассеянность и снова впадал в необъяснимую прострацию. Я делал все, что мог, чтобы привести его в чувство, но настоящего контакта так и не получалось, то, что нас прежде объединяло, вдруг исчезло. Крупные черты его, еще недавно казавшиеся мне такими привлекательными, на глазах обретали непредполагаемую вульгарность и грубость. Лицо его больше не освещалось прелестью и красотой обожаемой им женщины, и он постепенно принимал неприятный облик солдафона.

О чем он думал, я не знаю. Возможно, он разгадал мою тайну. Судя по неровности его поведения, он, видимо, был раздраем противоречивыми чувствами, он то пожимал мне руку и называл своим лучшим и единственным другом, то с неприязнью отворачивался от меня.

Я с ужасом понял, что оба мы можем жить только в ее присутствии, только для нее. Но стоило нашему солнцу зайти, как мы тут же поблекли.

Когда мы вернулись в город, я хотел было проститься с бароном, но он, помимо моей воли, упрямил меня пойти вместе с ним, и я подчинился.

Мы вошли в их опустевшую квартиру, и нам показалось, что оттуда только что вынесли покойника. И мы снова не смогли сдержать слез. Я был смущен и понял, что спасти меня может только юмор.

– Смешно, не правда ли, господин барон? Гвардейский капитан и королевский секретарь рыдают...

– Слезы облегчают душу, – сказал он и кликнул дочку, но приход ее лишь обострил боль разлуки с баронессой.

Пробило девять. Сил у нас больше не было, и он предложил мне лечь спать тут, в гостиной, на диване, сам же он ляжет в спальне. Он сунул мне под голову подушку, накрыл своей шинелью и пожелал спокойного сна, сердечно поблагодарив за то, что я не бросил его в одиночестве. В его братской нежности, несомненно, был отзвук отношения ко мне баронессы, которая полностью занимала все его мысли. Почти мгновенно погрузился я в тяжелый сон, но все же успел отметить, что он еще раз на цыпочках подошел ко мне, чтобы проверить, удобно ли мне спать на диване.

Проснулся я около полудня. Барон уже был на ногах. Одиночество его страшило, и он предложил отправиться вместе в парк и там пообедать. Так мы и сделали и провели весь день, говоря о разных разностях, но больше всего о том дорогом существе, без которого жизнь каждого из нас теряла всякий смысл.

В течение следующих двух дней я избегал встречи с бароном и уединился в библиотеке, полуподвалы которой представляли убежище, как нельзя более соответствующее состоянию моего духа. В просторном рокальном зале с окнами, выходящими во Двор Львов, некогда было размещено собрание скульптур, а теперь хранились древние манускрипты. Вот там я и скрылся от всего света. Я брал с полок первые попавшиеся рукописи, лишь бы текст был достаточно старым, чтобы отвлечь меня от недавних событий. Но по мере того, как я углублялся в чтение, современность проникала в прошлое, и пожелтевшие буквы письма королевы Кристины шептали мне признания баронессы.

Я не посещал своего обычного ресторана, чтобы не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять рта разговорами с еретиками, которые не должны были узнать о моей новой вере. Я ревновал себя к ним, поскольку отныне я весь, целиком, должен был принадлежать только ей. Когда я бродил по городу, мне хотелось, чтобы передо мной шли певчие и звонили бы в колокольчики, оповещая уличную толпу о появлении новой святыни, заключенной в дароносице моего сердца. Я воображал, что ношу траур по королеве, и готов был просить прохожих снять шляпы перед покойницей – моей мертворожденной любовью, не имевшей ни малейшей надежды на жизнь.

На третьи сутки около часу дня меня вывела из оцепенения барабанная дробь во время смены караула гвардейцев, и вдруг зазвучал траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидел барона, марширующего впереди расчета гвардейцев. Он приветствовал меня кивком головы и озорной улыбкой. Ведь это он приказал оркестру играть любимый марш баронессы, и музыканты не знали, что играют в ее честь для нас двоих перед собравшейся толпой зевак, которые и подавно ни о чем не подозревали.

Полчаса спустя барон пришел ко мне в библиотеку. Я повел его по темным коридорам, уставленным книжными шкафами, в подвал, в рукописный зал. Вид у него был бодрый, и он первым делом изложил мне содержание письма, полученного от жены. Все у нее складывалось как нельзя лучше. В письмо была вложена записочка и для меня, которую я тут же прочитал, стараясь при этом скрыть свое волнение. Тон записки был дружеский, естественный, баронесса благодарила меня за заботу о ее «старике» и признавалась, что была весьма тронута нашим прощанием. Сейчас она гостила у моей «спасительницы», которую еще больше полюбила, и отзывалась о ней самым лестным образом, уверяя меня, что я могу серьезно надеяться. Вот и все.

Значит, она любит меня! Однако теперь я считал ее чудовищем, одно воспоминание о котором вызывало у меня отвращение, но я был вынужден, сам того не желая, изображать влюбленного, и этой ужасной комедии не было видно конца. А с любовью, как известно, не шутят. Я попал в ловушку и, охваченный бешенством, старался вывести на чистую воду эту тварь с чуть раскосыми глазами, серым цветом лица и красными руками, которая заставила меня себя полюбить. Испытывая дьявольское удовольствие, я вспоминал теперь все ее уловки обольщения, ее весьма сомнительную манеру держать себя, которая дала повод моим друзьям спрашивать меня с нехорошим смешком, как зовут эту шлюху, которую я водил гулять в предместье. Со злорадством я перечислял себе ее претенциозные выходки, убеждался в упрямстве, с которым она делала все возможное, чтобы меня подцепить. Вот, например: она всегда вытаскивала часики из-за корсажа так, чтобы при этом чуть выглядывало кружево ее лифа. А в то воскресенье, когда мы с ней гуляли в парке и ходили по аллеям, она вдруг предложила углубиться в чашу. Когда я это услышал, у меня прямо волосы встали дыбом, потому что сходить с

аллеи в этом парке считалось абсолютно неприличным. Я возразил, сказав, что это неудобно, но моя спутница не нашла ничего лучшего, чем воскликнуть: «Плевать на приличия!»

Ей, видите ли, захотелось нарвать анемонов, которые росли в орешнике, и, не раздумывая, она чуть ли не бегом бросилась в кусты. В смущении я двинулся вслед за ней. Найдя весьма укромное местечко, надежно скрытое от глаз прохожих, она уселась под крушиной, подобрав при этом юбку так, чтобы видны были ноги, к слову сказать, довольно стройные, но со следами обморожения. Возникла напряженная пауза, во время которой мне невольно пришла на ум история коринфских дев, взбешенных тем, что их почему-то заставляют ждать изнасилования, на которое они рассчитывали. Она смотрела на меня с глупым видом, и даю честное слово, только ее уродство и мое отвращение к легким победам сохранили ей невинность.

Все эти подробности, которые я старался забыть, как недостойные внимания, всплыли в моей памяти, поскольку возникла реальная опасность, что она снова свалится мне на голову, и я стал страстно желать удачи певцу в его любовных начинаниях. Мне же ничего не оставалось, как покорно носить маску.

Пока я вчитывался в записку баронессы, барон сидел у большого стола, заваленного книгами и рукописями, и вертел в руках свой офицерский жезл из резной слоновой кости. Он рассеянно глядел по сторонам и, казалось, чувствовал свою некомпетентность, конечно только в области гуманитарных наук, по сравнению с какой-то штатской крысой вроде меня, и на все мои попытки развлечь его моими учеными изысканиями отвечал одной лишь фразой:

– Несомненно, это должно быть весьма поучительно!..

А я, в свою очередь ощущая свое ничтожество рядом с великолепием его офицерских регалий, знаков различия, портупей, его парадного мундира, выхвалялся, чтобы установить между нами хоть некоторое равновесие своими знаниями, но ничего, кроме некоторой растерянности, у него не вызвал.

Шпага и перо! Дворянин плывет вниз по течению, разночинец – вверх! Быть может, женщина, бессознательно, но с присущей ей прозорливостью, предвидела, кому принадлежит будущее, раз в дальнейшем она выбрала в качестве отца своих детей представителя не наследственного, а нового, духовного дворянства.

Так или иначе, между бароном и мной воцарилась какая-то неловкость, в которой мы не желали себе признаться, хотя он и делал большие усилия, чтобы обращаться со мной как с равней. Иногда он даже выказывал мне большое уважение, вызванное моими знаниями, и тем самым признавал, что в этой области стоит на более низкой ступени, нежели я. Когда же он принимался кичиться своей родословной, достаточно было одного слова баронессы, чтобы поставить его на место. Для нее наследственные гербы не имели цены, и парадный мундир капитана в ее глазах явно проигрывал рядом с сюртуком, осыпанным ученой пылью, разве он сам этого не признал, надев в свое время блузу художника? Все это так, но тем не менее ему никуда было не уйти от дворянского воспитания, от приверженности традициям. Ревнивая ненависть между студентами и офицерами вошла в кровь, и никому никуда от нее не деться.

Но в данном случае я был ему нужен как аудитория для демонстрации своего горя, и он пригласил меня к себе на обед.

Когда мы выпили кофе, барон предложил написать баронессе письмо и протянул мне перо и бумагу. Таким образом, я оказался вынужденным написать ей и ломал себе голову, сочиняя банальные фразы, могущие заглушить голос сердца.

Написав письмо, я протянул его барону, чтобы тот его пробежал.

– Я никогда не читаю чужих писем, – сказал он мне с подчеркнутым высокомерием.

– А я никогда не пишу чужим женам без того, чтобы завизировать письмо у мужа, – парировал я.

Он бросил беглый взгляд на листок и с какой-то невнятной улыбкой сунул его в конверт вместе со своим.

В течение целой недели я его не видел, и вдруг как-то вечером мы случайно столкнулись на перекрестке. Он был как будто мне очень рад, и мы отправились в кафе, чтобы он смог, как уже повелось, исповедаться.

Оказывается, он провел несколько дней за городом, у той самой кухни его жены, о которой уже было столько разговоров. Я еще ни разу не видел этой завлекательной особы, но следы встречи барона с ней было бы трудно не заметить. От обычного для него выражения надменности и печали не осталось и следа, в лице появилось что-то жизнерадостное и чувственное, а словарь пополнился рискованными выражениями сомнительного вкуса. Даже интонации его голоса явно изменились. «Какая, однако, податливая личность, – подумал я, – до чего же он восприимчив, подвластен любому впечатлению. Он – *tabula rasa*², и самая слабая женская рука может начертать там с равным успехом как глупость, так и гениальное прозрение».

Человек у меня на глазах превратился в опереточного персонажа, он острил, сплетничал, громко хохотал. В гражданском платье он терял всю свою значительность. А когда после обеда, захмелев, захотел поехать к проституткам, он показался мне просто отвратительным. Оказывается, весь он исчерпывался расшитым мундиром, перевязью и знаками различия. А помимо этого – ничего!

Все больше пьянея, он собрался было посвятить меня в свои интимные отношения с женой. Я оборвал его на полуслове и, возмущенный, встал, хотя он все еще продолжал мне твердить, что жена разрешила ему во время своего отсутствия воспользоваться свободой. Мне это показалось, кстати, очень человечным и лишь подтвердило мои догадки о целомудренности баронессы. Расстались мы рано, и я вернулся домой, совершенно потрясенный откровенными признаниями барона, которые мне пришлось выслушать.

Чтобы женщина, влюбленная в своего мужа, предоставляла ему полную свободу, не требуя при этом тех же прав для себя! Мне это казалось в высшей степени странным! Таким же противоестественным, как любовь без ревности, как лицевая сторона без изнанки. Такого не бывает. «Она целомудренна», – признался он мне. Еще одна странность. Выходит, я угадал насчет матери-девственницы. А целомудрие – это качество, свойственное высшей расе, чистой душе, присущее цивилизованным нравам благовоспитанных людей.

Это, к слову сказать, вполне соответствовало моим юношеским представлениям, когда девица из высшего общества вызывала у меня только чувство благоговения, никогда не возбуждая моей чувственности.

Детские мечты, полное незнание женщины. На самом же деле это куда более сложная проблема, чем она представляется холостяку.

Но вот баронесса вернулась. Как замечательно она выглядела, как помолодела от нахлынувших на родине воспоминаний и общения с друзьями юности!

– Вот голубка, которая принесла вам оливковую ветвь, – сказала она, вручая мне письмо моей пресловутой невесты.

Я читал бесцветную, претенциозную болтовню, которую могло написать только бездушное существо, этакий синий чулок, жаждущий с помощью брака, не важно с кем, освободиться от родительского гнета.

Прочитав это письмо и весьма неубедительно изобразив при этом радость, я все же решил до конца разобраться в этой скучной истории.

– Не можете ли вы мне объяснить, – спросил я баронессу, – является ли эта барышня все же невестой певца?

– И да и нет!

– Но она дала ему согласие?

– Нет!

² Букв.: чистая доска (*лат.*). В переносном смысле – нечто чистое, нетронутое.

- Она хочет выйти за него замуж?
- Нет!
- Ее отец и мать настаивают на этом браке?
- Они ненавидят певца!
- Почему же она так упорно хочет продать себя этому человеку?
- Потому что... Я не знаю!
- А меня она любит?
- Быть может!
- Значит, она просто жаждет выйти замуж. И выйдет за того, кто больше даст, как на торгах. Ничего она не понимает в любви!..
- А как вы понимаете любовь?
- Любовь?.. По-моему, это чувство подавляет все остальные, оно, как сила природы, все крушит на своем пути, вроде обвала, или прилива, или грозы. ...

Она поглядела мне в лицо и не стала говорить тех слов, которые приготовила, чтобы защитить свою подругу.

– И вы ее так любите? – спросила она.

В ту минуту я был готов ей во всем признаться, но в каком положении я оказался бы потом? Всякая связь между нами порвалась бы. Нет, только ложь – моя защита от преступной любви, – только ложь мне необходима!

Чтобы не давать баронессе утвердительного ответа на ее вопрос, я попросил не говорить больше об этом. Она, жестокая красавица, отныне умерла для меня, заверил я баронессу, и мой долг, хоть это и нелегко, в том, чтобы забыть ее.

Баронесса пыталась меня утешить, но при этом не скрывала, что певец – опасный соперник, поскольку он имеет постоянный доступ к объекту своих воздыханий.

Барон, устав от нашей болтовни, вступил в разговор, заявив, что с огнем шутки плохи, он обжигает, и дал тем самым понять, что не следует впутываться в чужие любовные дела.

Это было сказано довольно резко, и баронесса с досады вся залилась краской, так что мне пришлось вмешаться, чтобы не дать разыгаться надвигающейся буре.

Камень катился с горы, набирая скорость, ложь, которая поначалу была скорее игрой воображения, стремительно разрасталась. Стыд и страх вынуждали меня к самообману, я стал даже сочинять стихи и сам уже был готов поверить в свой вымысел. Я придумал себе роль несчастного влюбленного, и играть ее мне было нетрудно, поскольку я ведь и в самом деле это переживал, только по отношению к другому предмету.

И вот я чуть не угодил в мною же расставленные сети. В одно прекрасное утро я нашел у себя дома визитную карточку господина Х., секретаря таможенного управления, а иными словами – законного отца моей «спасительницы». Я тотчас же отдал ему визит. Этот маленький старичок, невероятно похожий на свою дочь, так сказать, карикатура на карикатуру, разговаривал со мной как с будущим зятем, расспрашивал о родителях, о сбережениях, о перспективах на продвижение по службе. Дело начинало принимать угрожающе серьезный оборот. Как быть? Я старался изобразить из себя маленького человечка, как можно более ничтожного, чтобы он отвернул от меня свой отеческий взгляд. Цель его поездки в Стокгольм была мне ясна. Либо он хотел отделаться от ненавистного ему певца, либо сама красавица решила остановить свой выбор на мне после того, как ее папаша, посланный ею в качестве эксперта, оценит меня по достоинству. Но я решил стать недоступным, всякий раз уклонялся от встречи, не пришел даже на званый обед к баронессе, объясняя все срочной работой в библиотеке, и так измучил бедного тестя своими выходками, что в конце концов он уехал раньше предполагаемого срока.

Догадывался ли потом певец, кому он обязан теми муками, которые обрушились на него, когда он женился наконец на своей мадонне? Нет, этого он так и не узнал и гордился своей победой надо мной.

Едва эта история была завершена, как возник новый инцидент, который тоже оказал влияние на нашу судьбу. Баронесса, взяв с собой дочку, неожиданно уехала из города. Это произошло в начале августа. Ссылаясь на свое здоровье, она отправилась на воды в маленький городок, расположенный на берегу озера Меларен, где жила и ее юная кузина со своими родителями.

По правде говоря, столь поспешный отъезд баронессы, последовавший вскоре после ее возвращения из долгого путешествия по Финляндии, меня несколько удивил, но, поскольку меня это, строго говоря, не касалось, я этого не высказал. Три дня спустя меня вызвал барон. Что-то явно беспокоило его, он нервничал и объявил мне с таинственным видом, что баронесса на днях возвращается.

– Почему? – спросил я, на этот раз не сумев уже скрыть своего изумления.

– То ли она волнуется... то ли климат ей не подходит... Я получил от нее весьма путаное письмо, которое, признаюсь, меня крайне встревожило. Вообще-то я никогда ее не понимал. Ее голова полна каких-то диких мыслей, в частности она вообразила, что ты на нее сердишься.

Представляете, какое мне надо было сделать усилие, чтобы казаться спокойным.

– Это просто нелепо, не правда ли? Во всяком случае, – продолжал он, – я сердечно тебя прошу ничем не обнаружить своего удивления, когда она вернется, потому что она стыдится своей неуравновешенности. А так как она одержима дьявольской гордыней, то способна на любое безрассудство, если заподозрит, что ты не одобряешь ее капризов.

«Вот труп и завонял», – сказал я себе. И с этой минуты я стал готовиться к бегству, боясь оказаться втянутым в любовную историю, развязки которой долго бы ждать не пришлось.

Получив от них очередное приглашение, я под малоубедительным предлогом отказался прийти. Это их обидело, и барон, разыскав меня, попросил объяснить ему действительные причины моего странного поведения. Я не знал, что ответить, и тогда он, воспользовавшись моим смущением, заставил меня согласиться поехать вместе с ними за город.

Баронесса выглядела плохо, на ней, как говорится, не было лица, а глаза лихорадочно блестели. Я тут же замкнулся, разговаривал ледяным тоном, был более чем сдержан. Мы добрались на парходике до модного кабачка, где было назначено свидание с дядей барона. Ужин прошел невесело. Мы сидели на дворе под сенью столетних лип с черными от старости стволами, а нашему взору открывался мрачный вид на черную гладь озера, окаймленного черными же горами.

Разговор не клеился, вертелся вокруг пустяков. Я почувствовал, что супруги в ссоре, что отношения между ними натянуты до предела, и не хотел присутствовать при очередной сцене. К несчастью, дядя и племянник вышли из-за стола, чтобы поговорить наедине. И тут разорвалась бомба. Вдруг баронесса, повернувшись ко мне, сказала:

– Известно ли вам, что Густав был весьма недоволен моим неожиданным возвращением?

– Нет, баронесса, понятия об этом не имею.

– Представляете, он, оказывается, собирался по воскресеньям встречаться с моей очаровательной кузиной.

– Баронесса, – прервал я ее, – не будете ли вы добры обвинять вашего супруга в его присутствии?

Как только я смог произнести эту фразу? Грубость, бесцеремонный выговор, проявление мужской солидарности перед лицом женского предательства?

– Ну, это уж слишком, сударь! – воскликнула она, меняясь в лице.

– Что подделаешь, баронесса.

Все было сказано, вот он, конец. И это навсегда.

Тут как раз вернулся ее муж, и она кинулась к нему, схватила за руку, словно ища защиты от врага. Он заметил это, но не понял в чем дело.

На дебаркадере я попрощался с ними, сославшись на то, что должен нанести визит в соседнюю виллу.

Не помню, как я вернулся в город. Казалось, ноги сами несут мое бесчувственное тело. Узел жизни был разрублен, и труп шагал, сам себя хороня.

Один. Снова в полном одиночестве. Без семьи, без друзей. И уже некого было боготворить. Нового бога не выдумаешь. Мадонна была свергнута с пьедестала, и на ее месте появилась женщина коварная, неверная, обнаружившая свои коготки. Пытаясь превратить меня в своего наперсника, она сделала первый шаг к адюльтеру, и в этот миг во мне вспыхнула ненависть к другому полу. Она оскорбила во мне мужчину, самца, и я был в союзе с ее мужем против всех женщин мира.

Долой добродетель! Впрочем, мне тут хвастаться было нечем, мужчина берет только то, что ему дают и, таким образом, никогда не бывает вором. Только женщина крадет и продается. Тот единственный случай, когда она отдается бескорыстно, рискуя все потерять, – это, к сожалению, и есть прелюбодеяние. Продается девка, продается жена, и только женщина в прелюбодеянии бескорыстно отдает себя любовнику, но обирает тем самым своего мужа.

Впрочем, я никогда и не помышлял сделать ее своей любовницей. Она внушала мне чувство нежной дружбы. Защищенная присутствием дочери, она всегда была для меня увенчана ореолом материнства, и меня никак не прельщало делить с ее мужем тайные наслаждения, нечистые сами по себе, облагороженные только безраздельностью и полнотой обладания.

Разбитый, подавленный, вернулся я в свою одинокую комнату, более одинокую, чем прежде, потому что с тех пор, как я познакомился с баронессой, я начисто порвал со всеми своими богемными знакомцами.

Я занимал довольно просторную мансарду с двумя окнами, выходящими на новый порт, залив и скалы южного предместья. На подоконниках у меня росли бенгальские розы, азалии, герань. Они цвели в разное время, и, таким образом, у меня всегда были цветы, необходимые мне для культа мадонны с младенцем. У меня уже давно вошло в привычку каждый вечер, опустив шторы, расставлять цветочные горшки как бы по контуру апсиды и ставить в середину портрет баронессы, освещая его лампой. На нем она была изображена как молодая мать, ее несколько строгое лицо поражало безупречной чистотой линий и было обрамлено пышными белокурыми локонами, а светлое платье с высоким, под самый подбородок, плиссированным воротом подчеркивало миниатюрность ее головки. Рядом на столике стоял портрет девочки, она была вся в белом, и ее глубокие глаза глядели на меня с мучительным вопросом. Перед этим образом я сочинял письма «Моим друзьям», которые отправлял на следующий день по адресу барона. Это был единственный способ утолить мою писательскую жажду, и в эти письма я вложил лучшую часть своей души. Чтобы найти хоть какой-то выход для артистической натуры баронессы, я уговаривал ее попробовать выразить на бумаге свои поэтические фантазии. Я приносил ей шедевры мировой литературы, делал обзоры, излагал содержание книг, разбирал их, давал советы, практические рекомендации, объяснял основы литературной композиции. Но она проявляла ко всему этому слабый интерес и только выражала сомнение в своих способностях к сочинительству. На что я ей возражал, что каждый просвещенный человек в состоянии написать письмо, а значит, является писателем *in petto*³. Но все мои усилия ни к чему не привели, страсть к театру слишком глубоко укоренилась в ней, и она твердо стояла на своем, уверяя, что тяга эта у нее врожденная. Поскольку общественное положение не позволяло ей взойти на подмостки, она, не желая добровольно принести эту жертву, стала изображать из себя великомученицу, разрушая тем самым свое семейное счастье. Ее муж, естественно, поддерживал все мои попытки отвлечь ее от сцены, предпринятые с тайной целью спасти его семью от крушения, и не знал, как меня благодарить, хотя и не смел открыто выска-

³ В глубине души (*int.*).

зывать свою заинтересованность. Я же был настолько упорен, что баронессе вскоре уже нечего было мне возразить, на каждое ее письмо я немедленно отвечал, не уставая повторять, что ей необходимо вскрыть этот душевный нарыв, который ее мучает, запечатлеть свою душу в романе, драме или стихах.

«Поделитесь своим опытом, – писал я ей, – раз вы прожили жизнь, богатую различными событиями и переживаниями. Возьмите в руки бумагу, перо, будьте искренни, и вы станете писателем», – цитировал я ей изречение Берне.

«Слишком тяжело прожить заново горькую жизнь, – ответила она мне. – Нет, я ищу путь в искусство, чтобы, углубившись в характеры, совсем непохожие на мой, решительно все забыть».

Я никогда не спрашивал ее, что именно она так жаждала забыть, я ведь, собственно говоря, ничего толком не знал о ее прошлом. Уж не боялась ли она подсказать мне разгадку своей натуры, выдать мне ключ к своему характеру? Не рвалась ли она так к театральному искусству, чтобы спрятаться за личинами или, точнее говоря, придать себе больший вес, изображая фигуры более значительные, нежели она сама?

Исчерпав в конце концов все доводы, я посоветовал ей для начала попробовать свои силы в переводе, чтобы отточить стиль и зарекомендовать себя у издателей.

– А как платят за перевод? – спросила она.

– Во всяком случае, неплохо, но для этого надо стать настоящим профессионалом, – ответил я.

– Не думайте, пожалуйста, что я скупердяйка, – продолжала она, – но работа без ощутимых результатов меня не привлекает.

Она была захвачена новомодной манией современных женщин самим зарабатывать свой хлеб. Барон скептически усмехнулся, давая понять, что предпочел бы, чтобы жена его получше вела хозяйство, чем пыталась, в ущерб домашним делам, зарабатывать жалкие гроши.

С того дня баронесса стала осаждать меня просьбами найти ей книгу для перевода и издателя. Чтобы не подвергать себя излишнему риску, я вскоре принес ей на пробу две маленькие заметки для отдела происшествий одного иллюстрированного журнала, который вообще-то не платил за перевод. Прошла целая неделя, а перевод этот, пустячная работа, которая отняла бы не больше двух часов, так и не был сделан. Барон стал ее дразнить, говорил, что она лентяйка и любит по утрам валяться в постели, и, судя по тому, как она на это сердилась, было ясно, что он попал в точку. И я перестал напоминать ей об этом переводе, не желая служить яблоком раздора между супругами.

Вот так обстояли дела к моменту нашего разрыва.

Я сидел в своей мансарде за столом, перечитывал одно за другим письма баронессы, и сердце мое сжималось от сострадания к ней. Что за отчаявшаяся душа! Ее внутренняя сила оставалась неизрасходованной, ее таланты не находили выхода, точь-в-точь как и мой. Вот откуда идет наша взаимная симпатия. Я страдал, если можно так выразиться, через нее, она превратилась для меня в некий болетворный орган, который приложили к моей страждущей, искалеченной душе, уже не способной самой по себе испытать жестокое наслаждение от мук.

Но что же такое она сделала, чтобы потерять мое сочувствие? Терзаемая ревностью, что было вполне естественно, она пожаловалась мне на свой разлад с мужем. А в ответ я ее оттолкнул, говорил с ней грубо, вместо того чтобы ее образумить, что было легко сделать, поскольку, как заверял меня барон, она предоставила ему полную свободу в их супружеских отношениях.

Мною овладела безграничная жалость к этой женщине, которая, видимо, хранила в душе своей не одну горестную тайну и страдала от каких-то аномалий своего психического и физического развития. И в тот момент мне показалось, что я буду глубоко неправ, если позволю ей плыть по течению. Тут меня охватило полное отчаяние, и я решил, что обязан ей написать, попросить у нее прощения и умолять забыть происшедшую между нами ссору, а дурное впе-

чатление, которое эта сцена не могла не оставить, посчитать недоразумением. Но у меня не нашлось нужных слов для этого письма, перо в моей руке не двигалось, и я, изнемогая от усталости, бросился на диван.

Проснулся я уже утром. Неяркое августовское солнце обещало теплый день. Подавленный, печальный, я не знал, куда себя деть, и уже в восемь утра пришел в библиотеку. У меня был свой ключ, и я отпер дверь. До открытия оставалось три часа, которые я мог провести в полном одиночестве. Я принялся бродить по коридорам, между книжными шкафами и наслаждался этим изумительным одиночеством, когда ты один и вместе с тем не один, а в интимном общении с первейшими умами всех эпох. Я брал в руки то тот, то другой томик и старался сосредоточить на нем свое внимание, чтобы забыть вчерашнюю тяжелую сцену. Но сколько я ни пытался прогнать из памяти оскверненный образ падшей мадонны, все было тщетно. Подымая глаза от прочитанной страницы, так и не поняв при этом ни слова, я видел ее то спускающуюся по лестнице, то мечущуюся в глубине низкой и, казалось, бесконечной, галереи. Настоящая галлюцинация, и только. Да, я видел, как она спускается вниз, придерживая рукой складки своего синего платья и выставя при этом напоказ свои крошечные ножки и точеные лодыжки, взглядом чуть косящих глаз она как бы призывала меня к предательству, а ее коварная, сладострастная улыбка, которую я обнаружил у нее лишь вчера, была обращена ко мне и говорила о том, что она меня желает. И этот призрак вызывал у меня вожделение, дремавшее последние три месяца, настолько чистота атмосферы, царящей вокруг нее, сделала меня целомудренным. А это значит, что мое плотское желание стало целенаправленным и сосредоточилось вокруг одного-единственного объекта. Конечно, я хотел ею обладать, представлял себе ее обнаженную, восстанавливал ее формы по линиям ее одежд, которые знал наизусть. И поскольку бившиеся в моей голове мысли нашли себе вдруг цель, я стал листать каталоги итальянских музеев, где были собраны снимки всех знаменитых скульптур. Я намеревался предпринять научное исследование, чтобы открыть формулу этой женщины. Я хотел установить род и вид, к которым она относится. Тут надо было выбрать. Венера с полными грудями и пышными бедрами, одним словом, нормальная женщина, которая ждет своего мужчину, уверенная, что красота восторжествует? Нет, не то! Может, скорее Юнона, олицетворение плодовитости, мать с ребенком, самка, раскинувшаяся на родильном ложе, выставяющая напоказ те части своего роскошного тела, которые принято скрывать от посторонних взоров. Тоже не то! Или Минерва, синий чулок, старая дева, скрывающая свою плоскую грудь под кирасой воина? Ни в коей мере! А вот Диана? Бледная богиня ночи, боящаяся света дня, жестокая, с ее невольным целомудрием, результатом дефекта телесного развития, более похожая на мальчика, нежели на девочку. Скрамница по необходимости, она рассердилась на Актеона за то, что тот застал ее за купаньем. Итак, род Дианы, пожалуй, годится. А к какому виду ее отнести? Будущее покажет. Однако это хрупкое тело, изящные движения, прелестное личико, гордая улыбка, в которой сокрыты и кровожадность, и тайные желания, эта девичья грудь... Даже удивительно, до чего все соответствует.

Занятый своими розысками, я судорожно перелистывал все художественные альбомы, собранные в богатейшем национальном хранилище, чтобы найти разные изображения целомудренной богини. Я сравнивал фотографии, проверял свои догадки с придирчивостью ученого. Я бегал из одного конца обширного здания в другой, потому что ссылки в текстах заставляли меня обращаться все к новым книгам. Так незаметно настал час начала работы, и приход моих коллег вернул меня к моим повседневным обязанностям.

Вечером я решил пойти повидать своих приятелей по клубу. Как только я вошел в лабораторию, они приветствовали меня прямо-таки адскими криками, и я тут же прибодрился. Стол, изображающий алтарь, был выдвинут в центр помещения и украшен черепом и огромным сосудом с цианистым калием. Рядом лежала раскрытая Библия, вся в красных пятнах от

пунша, страницы ее были прижаты медицинским зондом, и кое-где торчали презервативы в виде закладок.

Повсюду стояли стаканы с пуншем – недаром там был перегонный аппарат. Пьянка была в разгаре. Мне протянули колбу объемом не менее половины литра, которую я залпом опорожнил. И все хором проскандировали девиз клуба:

– Да будет все проклято!

На что я ответил «Гимном развратников»:

В лоск напиваться
И совокупляться —
Вот смысл жизни
Нашего братства!..
Пьяные бденья
Да совокупленья —
Наша награда
За долготерпенье.

И тут последовал общий вопль, свист, шиканье, и под эти звуки я начал декламировать свои знаменитые богохульные вирши. В звонких стихах, не скупясь при этом на анатомические термины, я воспевал женщину как необходимую принадлежность мужских развлечений.

Я упивался непристойностями, похабными словами, осквернял мадонну – так болезненно проявилось мое неудовлетворенное желание. Во мне вдруг вспыхнула настоящая ненависть к моему вероломному кумиру, и глумление это принесло мне горькое утешение. Мои собутыльники, бедные горемыки, весь любовный опыт которых ограничивался публичным домом, радовались, что я обливал помоями светских дам, которые были для них недоступны.

Мы все больше пьянели. Мне было приятно снова слышать мужские голоса после нескольких месяцев, потраченных на сентиментальное мяуканье, на неискренние излияния и лицемерную игру в невинность. Маска слетела, с моим тартюфством, прикрывающим откровенную похоть, было покончено, и я мысленно представил себе, как обожаемая мною женщина, чтобы разогнать тоску своей унылой жизни, безудержно предается супружеской любви. Именно ей я предназначал все оскорбления, плевок и гнусные слова, которые рождались в моем мозгу в приступе бешенства, оттого, что я не могу обладать ею, однако свершить прелюбодеяние я был решительно не способен, – это было сильнее меня.

От возбуждения, которое овладело мною, обострив до предела все мои чувства, лаборатория казалась мне местом грандиозной оргии, где каждое ощущение доведено до предела. Колбы с химикатами на полках переливались всеми цветами радуги: красный сурик, оранжевый хромат калия, желтая сера, синий купорос, зеленая окись меди. Воздух был отравлен табачным дымом и испарениями лимонного арака, пробуждающего смутные образы воспоминаний о дальних странах. На специально расстроенном пианино кто-то наигрывал, пародируя траурный марш Бетховена, так что узнать можно было только ритм. Бледные лица собравшихся покачивались в синеватом мареве дыма. Золотая перевязь лейтенанта, черная борода доктора философии, крахмальная манишка врача, череп с пустыми глазницами, вопли, шум, неправдоподобные диссонансы, гнусные картины, вызванные нашими речами, – все это смешалось в моем воспаленном мозгу, когда вдруг раздался возглас, один-единственный, как призыв, и все его единодушно подхватывают: «Совокупляться!»

И все снова затянули хором: «В лоск напиваться и совокупляться – вот смысл жизни для нашего братства!», схватили плащи и шляпы и отправились в путь.

Полчаса спустя вся компания ворвалась в бордель. Заказали стут, разожгли огонь в печи, и сатурналии открылись живыми картинами.

Наутро я проснулся, правда, поздно, зато у себя дома, в своей постели. А главное, я прекрасно себя чувствовал. Одна ночь нормальных объятий развеяла мою нездоровую восторженность и культ мадонны. Мою воображаемую любовь я считал за проявление слабости то ли ума, то ли тела, что в те времена было для меня одинаково позорно.

Приняв холодный душ и позавтракав в ресторане, я отправился в библиотеку. Я ощущал свою силу и был счастлив, что все так хорошо кончилось. Я работал с большим воодушевлением, и время мчалось быстро.

Пробило половину первого, когда служитель сообщил мне о приходе барона.

«Значит, это еще не конец», – сказал я себе, готовясь к какой-нибудь сцене.

Барон выглядел бодрым, веселым, он дружески пожал мне руку и пригласил поехать вместе с ними на пароходе в курортный городок Сёдертелье, где должен был состояться любительский спектакль.

Я отказался, ссылаясь на срочные дела.

– Но моя жена на этом настаивает, – возразил он. – К тому же Малютка тоже там будет.

Малютка – это кузина. Он так трогательно и настойчиво стал меня умолять согласиться, ласково глядя на меня своими глазами ипохондрика, что я почувствовал себя не в силах оказывать дальнейшее сопротивление. Но вместо того, чтобы прямо согласиться, я ответил вопросом:

– А как себя чувствует баронесса?

– Вчера она была больна, ей было очень плохо, но сегодня лучше. Скажите, пожалуйста, друг мой, – добавил он, – что у вас случилось позавчера в ресторане? Жена уверяет, что между вами произошло недоразумение, и вы на нее сердитесь безо всякой на то причины.

– По правде говоря, – начал я не очень уверенно, – я сам толком не понял, в чем дело. Возможно, я выпил лишнего и совершил какую-нибудь оплошность.

– Забудем это, – поспешно сказал он, – давайте дружить, как прежде. Женщины, сами знаете, так чувствительны... Одним словом, вы мне обещаете прийти, верно? Итак, сегодня в четыре часа дня.

Я обещал.

Загадка, для которой нет слов. Недоразумение? Но она заболела из-за нашей ссоры... От страха, от досады или еще от чего?

Дело принимало теперь интересный оборот, поскольку в игру вступила и юная незнакомка.

И когда я сел в четыре часа на указанный мне пароход, сердце мое билось учащенно.

Друзья мои в свою очередь поднялись на палубу, и я сразу же увидел баронессу, которая поздоровалась со мной, как нежная сестра.

– Не сердитесь на меня за мою резкость, – пробормотала она, – я так легко вспыхиваю...

– Забудем это, – прервал я ее и повел на корму.

– Познакомьтесь... – сказал барон, и тут только я заметил молодую особу лет восемнадцати, такую субреточку, как, впрочем, я и ожидал. Ростом невысокая, с вульгарным лицом, она была одета просто, хотя за этой простотой угадывалось усилие казаться элегантной.

А баронесса! Бледная, с запавшими щеками, худая как щепка, просто ужас! Браслеты гремели, болтаясь на тоненьких запястьях, а шея нелепо торчала из слишком широкого воротничка, так что видно было, как сонные артерии змейками вились к ушам, более открытым, чем обычно, из-за небрежной прически. К тому же она была плохо одета, кричащие цвета ее туалета не только дисгармонизировали друг с другом, но и не шли ей, и она показалась мне просто уродливой. Так она, несомненно, и выглядела в этот день, я испытывал к ней глубокую жалость и проклинал себя за сказанные накануне слова. Да какая же она кокетка! Великомученица! Святая, на которую незаслуженно обрушиваются несчастья.

Пароход отчалил. Прекрасный августовский вечер на озере Меларен настраивал на мечтательный лад.

Не знаю, было ли это преднамеренно или случайно, но места барона и кузины оказались рядом и на таком расстоянии от нас, что мы не слышали их разговора. Наклонившись к девушке, барон болтал без умолку, смеялся, шутил, он так помолодел и выглядел таким счастливым, что его можно было принять за только что обручившегося жениха.

Время от времени он бросал нам озорной взгляд, и мы приветствовали друг друга кивком головы или улыбкой.

– Бойкая девочка, не правда ли? – сказала мне баронесса.

– Похоже на то, баронесса, – ответил я, не зная точно, как я должен себя вести в данной ситуации.

– Она умеет расшевелить моего мужа, развеять его меланхолию, а вот у меня нет этого дара, – добавила она, поглядела на «молодых» с искренней симпатией и улыбнулась им.

В эту минуту я увидел следы тайного страдания и пролитых слез на ее лице, оно приняло выражение нечеловеческой покорности судьбе; и, словно облака, по нему скользили отсветы доброты, самоотверженности, самоотречения, которые мы обычно видим только на лицах беременных женщин и молодых матерей.

Я испытывал такие угрызения совести и так стыдился своего необоснованного суждения, что с трудом удерживал слезы, которые выглядели бы просто нелепо на фоне нашей болтовни.

– И вы не ревнуете?

– Нисколько, сударь, – ответила она мне и рассмеялась очень искренне, без тени злости. – Вам это, наверное, кажется странным, но дело обстоит именно так. Я люблю своего мужа, у него такое прямое сердце, обожаю кузину, она очаровательна, и притом это совершенно невинная душа, другой такой нет. Нет, ревность я презираю, и от нее становишься уродливой, а в моем возрасте уже надо себя беречь.

И в самом деле, ее уродство в тот день бросалось в глаза. У меня просто душа разрывалась, и тогда я, повинаясь не разуму, а чувству, приказал ей, заговорив как бы отеческим тоном, завернуться в шаль из альпака, ссылаясь для приличия на сильный ветер, на котором она может простудиться. Я сам набросил ей на плечи этот мохнатый шерстяной платок, прикрывший все платье, и так распределил складки вокруг лица, что оно снова стало привлекательным.

Как она была прекрасна, когда тепло улыбнулась в ответ на мой жест! Она снова казалась счастливой и с благодарностью глядела на меня, словно ребенок, жаждущий ласки.

– Бедный мой муж, как мне радостно видеть его хоть разок оживленным. У него ведь и так хватает огорчений.

– Баронесса, я не хочу быть нескромным, но скажите мне, заклинаю вас небом, – отважился я, – что вас гнетет? Я не настолько слеп, чтобы не видеть, что вы таите какую-то тревогу. Я, увы, могу дать лишь добрый совет, но если он вам понадобится, то рассчитывайте на меня, как на друга.

Так вот он, оказывается, каков, этот труп в трюме, который постоянно мучил моих бедных друзей: гнусный призрак надвигающегося разорения. Недостаточное жалованье барона до сих пор пополнялось приданым баронессы, но недавно выяснилось, что этого приданого, можно сказать, не существует, потому что оно состоит из бумаг, потерявших ценность. И ему, видимо, придется подать в отставку, во всяком случае, он уже ищет место кассира.

– Вот почему, – добавила она, – я хотела найти применение своему таланту и заработать деньги на хозяйство. Ведь он попал в такое трудное положение по моей вине, это я погубила его карьеру...

Что можно сказать или сделать, когда все обстоит так серьезно, а я бессилен помочь! Я настроился на поэтический лад и, внушив себе с помощью самообмана, что это пустяки, стал сочинять сказку, обещая ей беззаботное будущее, вселял радужные надежды, прибежал

к помощи экономической статистики, чтобы предсказать приход лучших времен, а значит, и повышение курса ее акций, придумывал новые источники доходов, причем огромных, обещал в ближайшем будущем чудо – проведение реорганизации армии, а следовательно, и неожиданные повышения.

Все это был чистый вымысел, но благодаря моей фантазии я вдохнул в нее мужество и надежду и улучшил ее настроение.

Сойдя с парохода, мы, опять же парами, погуляли по парку, ожидая открытия театра. Я еще и словом не обменялся с кузиной, она была всецело занята бароном: он нес театральную накидку Малютки и при этом пожирал ее глазами, обрызгивал слюной, отогревал своим дыханием, но она оставалась неприступной, холодной, лицо сохраняло строгое выражение, а глаза были ледяными. Время от времени она роняла два-три слова, которые вызывали у барона громкий смех, но у нее самой лицо при этом оставалось каменным. Казалось, она всегда говорила только «в сторону», как в комедии, отпускала колкости и даже двусмысленности, если судить по гривуазной мимике ее собеседника. Наконец двери театра открылись, и мы устремились туда, поскольку места не были нумерованными. И вот поднялся занавес. Баронесса была счастлива снова увидеть подмостки, вдыхать запах темперы, полотна, дерева, грима, пота.

Играли «Каприз». Мне вдруг стало дурно – может, из-за нахлынувших горьких воспоминаний неудачника, который так и не смог завоевать сцену, а может, из-за вчерашнего кутежа. Как только упал занавес, я встал и тайком удрал в ресторан, где с помощью двух рюмок абсента кое-как привел себя в чувство.

Спустя некоторое время туда пришли и мои друзья, чтобы вместе поужинать, как было заранее условлено. Вид у них был усталый, они едва скрывали досаду по поводу моего бегства. Пока накрывали на стол, никто не произнес ни слова. Мы сели, но вчетвером трудно было начать разговор, и кузина по-прежнему хранила молчание, держалась крайне сдержанно и даже высокомерно.

И вот тут начали обсуждать меню. Баронесса, посоветовавшись со мной, решила взять закуску, но барон резко возразил, слишком резко для моих нервов, и я, словно по дьявольскому наущению, сделал вид, будто не слышу его слов, и заказал закуску на двоих. Для нее и для себя, как она хотела.

Барон побледнел. Атмосфера накалилась до предела, но никто не произнес ни слова.

Я был восхищен своим мужеством, тем, что парировал дерзость оскорблением, за которое мне в стране другой культуры пришлось бы держать серьезный ответ, и молча принялся за еду. Баронесса, ободренная моей смелой защитой, стала меня поддразнивать, чтобы вызвать улыбку. Но тщетно. Разговора за столом быть не могло, нам нечего было сказать друг другу, мы с бароном лишь обменивались грозными взглядами. Под конец мой противник начал что-то шептать своей супруге, которая отвечала ему знаками и обрывками слов, произнесенных не раздвигая губ, и при этом кидала на меня презрительные взгляды.

Кровь ударила мне в голову, и гроза неминуемо разразилась бы, но тут возник инцидент, послуживший громоотводом.

В соседнем кабинете пировала веселая компания. Уже полчаса там кто-то брэнчал на пианино, а теперь, распахнув дверь, все хором запели непристойную песенку.

– Закройте дверь! – приказал барон официанту.

Едва он закрыл дверь, как ее снова открыли певцы, выделяя похабные слова и явно упираясь своей забавой.

Настал мой черед, воспользовавшись случаем, поднять скандал.

Я сорвался с места, большими шагами пересек зал и захлопнул дверь перед носом поющих. Взорвавшаяся бомба не произвела бы большего эффекта, чем мой жест. Я крепко вцепился в дверную ручку, но после короткой борьбы враги меня пересилили и вновь распахнули дверь, а я оказался в кругу кричащих людей, которые все ринулись на меня, чтобы избить.

В тот же миг я почувствовал, что моего плеча коснулась рука, и услышал негодующий голос, взывающий к чести этих господ, которые все нажились на одного... Это была баронесса, которая, позабыв приличия и хорошие манеры, поддалась порыву, свидетельствующему о ее чувствах, быть может, более горячих, чем она хотела показать.

Ссора на этом завершилась, и баронесса пристально поглядела на меня.

– Вы смелый человек, – сказала она. – Как я за вас испугалась!

Барон попросил счет и, вызвав метрдотеля, потребовал, чтобы сюда пришел мэр.

Между нами тут же установились самые добрые отношения, и каждый, перебивая другого, выражал свое возмущение грубостью местных жителей. Все бешенство, порожденное ревностью и оскорбленным самолюбием, обрушилось на козлов отпущения, а вокруг пунша, который мы выпили в гостинице, снова воспылал факел дружбы, и мы даже не заметили, что мэр так и не явился.

На следующее утро мы встретились за кофе, причем у всех было отличное настроение, и мы были счастливы, что выпутались из неприятной истории, последствия которой было трудно предвидеть.

После завтрака мы прогулялись по плотине канала, по-прежнему парами и на приличном расстоянии друг от друга. Когда мы дошли до шлюза, где канал поворачивал, барон вдруг остановился и, поглядев на баронессу с нежной, почти влюбленной улыбкой, сказал:

– Ты помнишь, Мария, это было здесь?

– Помню, дорогой Густав, – отозвалась она. Ее подвижное лицо выражало страсть и печаль.

– Здесь он объяснился мне в любви, – сказала она мне. – Как-то вечером, когда мы глядели на падающие звезды, вот под этой березой...

– Три года тому назад... – добавил я. – И теперь вы стараетесь оживить свои воспоминания, вы питаетесь прошлым, потому что настоящее вас не удовлетворяет...

– Прекратите, сударь, вы ошибаетесь... Я ненавижу прошлое, и я навек обязана мужу за то, что он освободил меня от тщеславной матери, ее деспотическая любовь меня чуть не погубила. Нет, я обожаю своего Густава, он стал мне верным другом.

– Как вам угодно, баронесса, я всегда с вами согласен, чтобы быть вам приятным.

В указанное время мы сели на пароход. Он пересек голубое озеро с тысячами зеленеющих островков и причалил к городской пристани, где мы и попрощались.

Я твердо решил серьезно взяться за работу, чтобы с корнем вырвать из моей души этот чуждый нарост, который принял форму женщины, но вскоре обнаружил, что не учел при этом неподвластных мне сил. Уже на следующий день я получил от баронессы приглашение на обед по случаю годовщины ее брака. Прибегать к уверткам было уже невозможно, и, хотя меня мучил страх, что таким образом наша дружба скоро зайдет в тупик, я явился точно в указанный час.

Представляете себе мое разочарование, когда я застал дом в полном разоре, прислуга второпях убирала комнаты. Барон был явно не в духе, а баронесса еще не появилась и велела извиниться передо мной за то, что обед опаздывает. Прогулка в садике с раздраженным и голодным бароном, который был не в силах скрыть своего нетерпения, исчерпала все мои разговорные возможности, так что полчаса спустя, когда мы поднялись в столовую, вести какую-либо беседу я был уже просто не в состоянии.

Стол к тому времени уже накрыли, и на нем даже расставили закуски, но хозяйка дома по-прежнему отсутствовала.

– Давайте перехватим на ходу хоть по бутерброду, – предложил мне барон.

Желая пощадить баронессу, я попытался было его отговорить, но ничего у меня не вышло. Я оказался между двух огней. И мне пришлось подчиниться барону.

И тут вдруг появилась баронесса. Сияющая, молодая, красивая, хорошо одетая. Платье из желто-лиловой, как анютины глазки, прозрачной тафты – эти цвета ей очень шли – было безупречного покроя и подчеркивало гибкую, как у девочки, талию, а ее обнаженные округлые плечи и руки были самым совершенством. Я поспешил преподнести ей букет роз и пожелал справлять юбилей свадьбы еще бесчисленное число раз, а вину за наше невежливое нетерпение с едой свалил на барона.

Она надула губы, заметив беспорядок на столе, и скорее горько, чем весело, бросила мужу какую-то язвительную фразу, а он тут же огрызнулся на это, пожалуй, незаслуженное замечание. Я поспешил на выручку, заговорив о вчерашних впечатлениях, которые мы с бароном только что ворошили.

– А как вам понравилась моя прелестная кухня? – спросила баронесса.

– Очаровательна! – воскликнул я.

– Не правда ли, это дитя просто находка, – произнес барон столь отеческим и искренним тоном, что ни в чем, кроме жалости к этой жертве воображаемых тиранов-родителей, его нельзя было заподозрить.

Но баронесса, не поддержав шулерской игры со словом «дитя», сказала безжалостно:

– Вы только поглядите, как эта милая Малютка причесала моего мужа!

И в самом деле, от привычного пробора у барона не осталось и следа, волосы были завиты и взъерошены, а усы подкручены, и все это до неузнаваемости меняло его лицо. Но при этом я обратил также внимание, хотя и вида не подал, на то, что в прическе, в одежде и даже в манерах баронесса теперь подражала своей обольстительной кухне. Нечто вроде избирательного сродства в химии, которое также широко применимо к живым существам.

Тем временем обед тянулся медленно и тяжело, как похоронные дроги. К кофе ждали кухню, которая стала теперь непременно членом нашего квартета, поскольку трио явно разладилось.

Когда подали десерт, я провозгласил тост в честь супругов, но говорил традиционно, без вдохновения, и речь моя походила на выдохшееся шампанское.

Барон и баронесса обнялись, возбужденные старыми воспоминаниями, и от этих внешних жестов любви в них вдруг проснулась подлинная нежность друг к другу, и они почувствовали себя снова влюбленными, подобно актерам, которые, искусственно вызывая слезы, приходят в состояние истинной печали. А может, под пеплом еще тлел огонь, готовый тут же вспыхнуть, если его умело и вовремя раздуть. Трудно сказать, что именно это было.

Потом мы спустились в садик и расположились в зеленой беседке, из которой был виден бульвар. Разговор то и дело замирал, всех нас охватило какое-то оцепенение, барон был рассеян и все время посматривал на улицу, выглядывая кухню. Вдруг он вскочил и умчался с быстротой лани, оставив нас вдвоем. Уж очень ему хотелось поскорее встретить свою гостью!

Оставшись наедине с баронессой, я почувствовал себя неловко, и вовсе не оттого, что был застенчив. Но когда мы оставались одни, она просто пожирала меня глазами, непомерно восхищаясь то одной, то другой деталью моего туалета, что не могло не вводить меня в смущение. И вот тогда, после долгого молчания, такого долгого, что уже становилось как-то не по себе, она вдруг рассмеялась и, указав в сторону убежавшего барона, сказала:

– До чего же влюблен мой дорогой Густав!

– Похоже, – ответил я. – Но вас как будто не мучает ревность.

– Нимало! – заверила она. – К тому же я сама влюблена в эту прелестную кошечку. А как вы относитесь к моей очаровательной кухне?

– Хорошо, баронесса. Но, чтобы быть до конца откровенным, скажу, не желая вас обидеть, что она не пользуется моей настоящей симпатией.

Я сказал чистейшую правду. С первого взгляда эта молодая особа, по происхождению простолюдинка, как и я, невзлюбила меня, как ненужного свидетеля, а точнее, как опасного

соперника, охотившегося на той же территории, что и она, чтобы получить доступ в высший свет. Окинув меня пронизательным взглядом – у нее были маленькие жемчужно-серые глазки, – она сразу же определила, что это ненужное ей знакомство, что пользы от меня как от козла молока, а ее инстинкт буржуазки подсказал ей, что в этот дом меня привела погоня за удачей. В известном смысле она была даже права, ведь я и не скрывал, что пришел в этот дом в надежде найти посредников, чтобы пристроить мою трагедию, но у моих друзей не оказалось решительно никаких театральных связей, все это был чистый вымысел финской барышни, и о моей пьесе мы ни разу не говорили, если не считать тех банальных комплиментов, которые я выслушал после чтения.

Барон, легко поддававшийся влиянию, решительно изменил ко мне отношение, и это лишь доказывало, что постепенно он тоже начинал смотреть на меня глазами обольстительной кухни. Впрочем, влюбленные не заставили себя долго ждать, они вскоре появились у калитки, оживленно болтая и смеясь.

Юная кухня была в тот вечер в игривом настроении. Она озорничала, как мальчишка-сорванец, то и дело употребляла фразы, но при этом оставалась в рамках хорошего вкуса, ловко, с самым невинным видом говорила двусмысленности, прикидываясь, будто и понятия не имеет о вторых значениях некоторых фраз. Она курила и пила вино, но при этом всегда вела себя как женщина, причем очень молодая женщина. Никаких мужских повадок, никакого намека на эмансипированность, никаких высоких воротничков. По правде говоря, она была забавной, и в ее обществе время пролетало незаметно. Но больше всего меня поразило, и это наблюдение оказалось пророческим, то дикое веселье, которое охватывало баронессу всякий раз, когда с уст кухни срывалась очередная рискованная фраза. Ее охватывали приступы какого-то развязного смеха, а на лице появлялось выражение бесстыдного сладострастия, свидетельствующее о ее посвященности в тайны разврата.

Тем временем к нам присоединился дядя барона. Старый вдовец, капитан в отставке, он был необычайно обходителен с дамами и отличался изысканными манерами, но при этом не был чужд и предприимчивой галантности в духе старого времени. Используя кровное родство как надежный щит, он был в этом доме настоящим женским угодником, давно завоевал расположение его обитательниц и пользовался правом обнимать их, поглаживать по щекам и целовать руки. И на этот раз не успел он появиться, как обе дамы кинулись ему на шею с радостными криками.

– Ах, мои крошки, поосторожней! Две на одного, не много ли это для такого старика, как я? Поостерегитесь, а то я буду стрелять! Руки вверх, либо я за себя не отвечаю.

Баронесса протянула ему свою сигарету, которую она уже примяла губами.

– Огоньку, дядюшка! – выкрикнула она со страстью в голосе.

– Увы, мой огонь иссяк, – ответил он лукаво. – Уже пять лет, как огня нет!

Баронесса с шутливой укоризной хлопнула его по щеке, но он поймал ее руку, стиснул ее пальчики между своими ладонями, а потом принялся гладить руку по всей длине, от кисти до самого плеча.

– Да ты, голубушка, вовсе не такая худышка, как кажется, – сказал он, проводя пальцами по изгибам ее мягко очерченной руки, которую она не отнимала.

Комплимент пришелся баронессе, судя по всему, по вкусу, во всяком случае, она опять рассмеялась громким чувственным смехом и, подняв рукав платья, обнажила изящную, благородных линий руку, поражающую молочной белизной кожи.

Вдруг она вспомнила о моем присутствии и торопливо опустила рукав, однако я успел увидеть, как в ее глазах вспыхнуло безумное пламя, а лицо ее исказилось гримасой любовного экстаза. В этот момент я как раз зажигал спичку и по неосторожности уронил раскаленный уголек, который упал между манишкой и жилетом. Баронесса кинулась в ужасе ко мне и, зажав пальцами тлеющее пятнышко, крикнула: «Огонь, огонь!», – залившись от волнения краской.

Я был потрясен и прижал ее руки к своей груди, но тут же, устыдившись своего порыва, отстранился, сделав вид, будто спасся от серьезной опасности, и почтительно поблагодарил баронессу, которая еще не успокоилась.

Мы пролюбезничали до ужина. Солнце тем временем зашло, и из-за купола обсерватории показалась луна, освещая яблони в саду, и мы стали отгадывать названия сортов яблок, висящих на ветках и наполовину скрытых густой листвой, блекло-зеленой в электрическом свете луны. А яблоки – и кроваво-красный кальвиль, и серо-зеленая антоновка, и коричневатый ранет – все изменили свою окраску и казались теперь разноцветными пятнами, от ярко-желтых до иссиня-черных. То же самое происходило и с цветами на клумбах. Георгины приобрели совершенно неправдоподобные оттенки, левкой выглядели цветами с другой планеты, а китайские астры блестели и переливались красками, которым у нас нет названия.

– Поглядите, баронесса, насколько все вокруг – плод нашего воображения, цвета существуют не сами по себе, а зависят от природы света. Все иллюзорно, решительно все.

– Все? – переспросила она, остановившись передо мной и подняв на меня пронзительный взгляд своих глаз, ставших от темноты еще больше.

– Все, баронесса, – солгал я, совсем потеряв голову от этого реального видения из плоти и крови, которое меня в тот миг испугало своей невообразимой красотой.

Ее растрепавшиеся волосы образовали как бы серебряный нимб над ее лицом, озаренным лунным светом, а стройная фигура, подчеркнутая полосатым, ставшим при этом освещении черно-белым платьем, была удивительно пропорциональна и гармонична.

Левкой источали возбуждающий аромат, кузнечики призывали нас лечь на траву, увлажненную вечерней росой, листва деревьев трепетала от теплого ветерка, сумерки укрывали нас мягкой пеленой, – одним словом, все призывало к любви, и только добропорядочная трусость удерживала меня от признания.

Вдруг в траву упало яблоко, сорванное с ветки порывом ветра. Баронесса нагнулась, подняла его и многозначительным жестом протянула мне.

– Запрещенный плод, – пробормотал я, – нет, баронесса, благодарю вас.

И, чтобы загладить свою неуклюжесть, я тут же стал придумывать удовлетворительное объяснение, намекая на мелочность хозяина.

– Вы же знаете хозяина. Что он скажет?

– Что вы рыцарь без страха и упрека, – насмешливо ответила она, словно ставя мне в вину мой испуг, и бросила косой взгляд на беседку, где сидели барон и кузина, скрытые от наших глаз.

Подали ужин. Когда мы вышли из-за стола, барон предложил всем прогуляться, чтобы проводить домой «наше дорогое дитя».

Выйдя из ворот, барон взял под руку кузину и повернулся ко мне.

– А вы, сударь, предложите руку моей жене, покажите, что вы кавалер, – сказал он обычным отеческим тоном.

И я снова испугался. Так как вечер был теплый, она не надела пальто, а лишь накинула его на плечи, и от прикосновения ее руки, упругость которой я ощущал сквозь шелк, по моему телу пробежал электрический ток, возбуждивший во мне какую-то сверхчувствительность. Так я, например, почувствовал, что рукав ее платья кончается на уровне моей дельтовидной мышцы. Я был так взвинчен, что мог воссоздать всю анатомию этой очаровательной руки. Ее бицепс – мышца-сгибатель, играющая первейшую роль во время объятий, – прижался к моему бицепсу, сквозь материю я ощущал мягкое ритмичное пульсирование ее плоти. Шагая с ней рядом, я легко представил себе форму ее ноги и округлость бедра, которое облегла ее нижняя юбка.

– Вы хорошо ведете даму и, наверное, прекрасно танцуете, – подбодрила она меня, но от стеснения я не мог вымолвить слова.

И после паузы, убедившись, что мои нервы натянуты до предела, она спросила с усмешкой, наслаждаясь своим женским превосходством:

– Вы дрожите?

– Да, баронесса, мне холодно.

– Наденьте пальто, мой мальчик, – сказала она ласково.

Надев пальто вместо смирительной рубашки, я оказался несколько защищенным от тепла ее тела. Но ее маленькие шажки, подладившись к ритму моих шагов, настолько объединили наши нервные системы, что мне показалось, будто я иду четырьмя ногами, как сдвоенное существо.

Во время этой прогулки, имевшей, как потом выяснилось, пророческое значение, мне как бы сделали прививку, которую делают садовники, приживляя ветку к стволу.

С того самого дня я перестал владеть собой. Эта женщина просочилась мне в кровь, наши нервы, придя во взаимодействие, напряглись, ее женские клетки нуждались в активной силе моих мужских клеток, ее душа испытывала потребность в моем интеллекте, который, в свою очередь, стремился до краев заполнить этот нежный сосуд. Но мы об этом еще не подозревали. В этом и было все дело.

Вернувшись домой, я спросил себя, чего же, собственно говоря, хочу. Убежать, забыть или добиться успеха в какой-нибудь далекой стране. И я сразу же стал намечать план предполагаемого путешествия. В Париж, в центр цивилизации, чтобы там заточить себя в библиотеки и музеи – почему я знаю! – и завершить свой труд!

Как только возник этот план, я стал предпринимать шаги для его осуществления, и все произошло так быстро, что через месяц я уже начал делать прощальные визиты. Одно происшествие, случившееся на редкость кстати, облегчило мне трудную задачу найти благопристойный предлог для этого бегства. Сельма – так звали финскую барышню, – о которой я и думать забыл, опубликовала сообщение о своем предстоящем браке с певцом.

Я вынужден бежать, чтобы поскорее забыть изменницу и залечить на чужбине свое раненое сердце. Объяснение показалось убедительным.

Но когда я решил отправиться в Гавр пароходом, мне пришлось поддаться уговорам друзей и отложить отъезд на несколько недель из-за осенних бурь.

Затем меня задержала свадьба сестры, назначенная на начало октября, так что мой отъезд все оттягивался.

Тем временем мои друзья чуть ли не каждый день приглашали меня к себе. Поскольку кузина уехала к своим родителям, мы чаще всего проводили вечера втроем, и барон, вновь попав под влияние жены, стал ко мне опять благоволить. Успокоенный моим скорым отъездом, он по старой привычке вел себя со мной как с другом.

Как-то вечером, когда мы были в гостях у матери баронессы, баронесса, непринужденно примостившись на диване и положив голову на колени матери, решила вдруг публично признаться в своем горячем увлечении одним знаменитым актером. Я и сейчас не могу решить, было ли это правдой или говорилось исключительно для меня, чтобы, поджаривая меня таким образом на медленном огне, посмотреть, как я буду реагировать на ее признание. Но так или иначе, старая дама, поглаживая волосы дочери, сказала мне:

– Если вы, сударь, намерены в будущем написать роман о женщине, то вот вам прообраз пылкой натуры. У нее всегда есть предмет страсти помимо мужа.

– Истинная правда, – подхватила баронесса. – И в данный момент это божественный М.

– Ну разве она не безумна? – воскликнул барон и улыбнулся мне, однако не сумел побороть начавшийся тик.

Пылкая натура! Это определение засело в моей голове, потому что оно было произнесено пожилой дамой, матерью, и не могло, при всей его ироничности, не содержать зерна истины.

В канун своего отъезда я пригласил барона и баронессу на ужин к себе в мансарду. Принимая их по-холостячки, я все же украсил свою комнату, чтобы хоть как-то скрыть недостатки мебелировки, и мое скромное жилище превратилось в подобие храма. У стены, между двумя окнами, перед одним из которых находился мой письменный стол и жардиньерка с комнатными цветами, а перед другим – небольшая книжная полка, стоял плетеный продранный диванчик, покрытый тигровым одеялом, которое крепилось невидимыми кнопками. Слева помещалась тахта в чехле из полосатого тика, заменявшая мне кровать, а на стене над ней яркая пестрая карта обоих полушарий; справа красовался комод, над которым висело зеркало, – обе эти вещи были в стиле ампира с украшениями из позолоченной бронзы, дальше – шкаф с гипсовым бюстом и умывальник, в этот вечер задрапированный оконными занавесками. Стены были увешаны всевозможными гравюрами в рамах, в совокупности создающими впечатление чего-то заведомо старинного и уникального.

На потолке висела фарфоровая люстра с рельефными цветами, по форме удивительно напоминающая паникадило – я нашел ее у одного старьевщика. Дефекты и сколы на этой люстре я ловко прикрыл листьями искусственного плюща, который стащил на днях у своей сестры. Под люстрой с тремя подсвечниками стоял стол, покрытый белоснежной камчатной скатертью, а в его центре – фаянсовое кашпо с кустом бенгальской розы, усыпанным алыми цветами, которые таились в темно-зеленой листве; все это вместе с ниспадающими на растение усиками плюща создавало впечатление праздника Флоры. Горшок с розами был окружен бокалами красного, зеленого, опалового стекла, купленными по случаю в антикварной лавке, все они были с дефектами, так же как и фарфоровый сервиз, собранный поштучно и состоящий из тарелок, солонки и сахарницы китайской, японской и марибергской работы.

На ужин я выбрал десять или двенадцать блюд холодных закусок скорее из декоративных соображений, нежели по вкусовым качествам, поскольку главным угощением все равно были устрицы. Хозяйка квартиры оказалась настолько любезна, что одолжила мне разные мелкие предметы, без которых было бы трудно организовать в мансарде настоящий праздник. Наконец, когда все было готово, я окинул взглядом мою преображенную мансарду и остался доволен, хотя и не выразил своих чувств даже восклицанием. Возникшая композиция вызывала в душе целую гамму различных ощущений, ибо включала в себя одновременно и труд поэта, и исследование ученого, и вкус художника, и снобизм гурмана, и культ цветов, а за всем этим угадывалось ожидание женщины. Если бы не три прибора на столе, можно было подумать, что интерьер этот создан для первой ночи, для ночи любви, но для меня предстоящий вечер был скорее сценой покаяния. В мою комнату не ступала нога женщины с тех пор, как у меня произошел разрыв с той подлой обманщицей, след от ее удара каблуком еще ясно виден на полированном дереве моей тахты. С того самого дня зеркало над комодом не отражало больше женского бюста. И вот теперь целомудренная, тонко чувствующая женщина, мать, дама света, освятит своим приходом это жилище, стены которого были свидетелями стольких печалей, страданий и бед. Но вместе с тем это должна быть и священная трапеза, так говорил во мне поэт, потому что, по существу, я жертвую своим сердцем, покоем, а может, и жизнью, ради счастья своих друзей.

Все у меня было готово, когда до меня донесся шум шагов на площадке четвертого этажа. Я поспешил зажечь свечи, поправил цветы в вазах и тут же услышал, как гости, наконец добравшись до мансарды, с трудом переводят дыхание перед моей дверью.

Я открыл. Ослепленная светом стольких свечей, баронесса захлопала, как в опере после понравившейся сцены.

– Да вы настоящий режиссер! – воскликнула она.

– Да, баронесса, я люблю театр, а пока...

Взяв у нее пальто, я поздоровался с гостями и предложил им сесть на диванчик. Но она никак не могла усидеть на месте. С любопытством молодой женщины, которая никогда

не бывала в комнате холостяка, которая из родительского дома сразу попала в спальню своего мужа, она учинила у меня настоящий обыск. Оказавшись в моей келье, она принялась перебирать мои ручки, раскрыла мою записную книжку, все перетрогала, словно хотела узнать какой-то секрет. Потом она подбежала к полке с книгами и рассеянно скользнула взглядом по корешкам. Но проходя мимо зеркала, она на мгновение задержалась, чтобы поправить прическу и отложить кружева своего корсажа, обнажив при этом выемку груди. Она оглядела по очереди каждый предмет обстановки и понюхала цветы, всем любовалась, сопровождая это какими-то невнятными тихими возгласами. Наконец, обойдя всю комнату, она спросила совсем наивным тоном, казалось, без всякой задней мысли, но продолжая что-то искать глазами:

– А где же вы все-таки спите?

– На тахте, баронесса.

– Ах, как, наверно, хорошо быть холостяком! – И было похоже, что она вспомнила свои девичьи мечты.

– Иногда холостяку бывает очень грустно, – ответил я.

– Разве грустно быть хозяином самому себе, чувствовать себя независимым, знать, что ты ни перед кем не в ответе? О, я обожаю свободу... А замужество Сельмы – просто предательство! Не правда ли, сердце мое? – обратилась она к барону, который, чтобы соответствовать ей, произнес:

– М-да, весьма досадно!

Мы сели за стол, ужин начался. После первого же стакана вина мы развеселились. Но вдруг вспомнили, в связи с чем собрались здесь, и печаль охватила нас. Потом каждый по очереди стал вслух вспоминать радостные минуты, пережитые вместе, мы вновь пережили, увы, лишь на словах, все забавные приключения во время наших совместных поездок, вспоминали, кто что когда сказал. Глаза у всех заблестели, сердца разогрелись, мы пожимали друг другу руки и чокались. Часы пролетали незаметно, и мы с растущим волнением понимали, что близится час прощания. Тогда по знаку своей жены барон вынул из кармана кольцо с опалом и, протянув его мне, произнес тост:

– Прими этот скромный дар, дорогой друг, в знак благодарности за твое дружеское к нам расположение. Пусть удача сопутствует тебе во всем, я молю об этом судьбу, потому что люблю тебя как брата и уважаю как человека чести! Счастливого пути! Я говорю тебе не прощай, а до свидания.

Человек чести! Значит, он меня разгадал! Он постиг нашу тайну! Однако не до конца. И в отборных выражениях барон обрушил изрядную порцию брани на голову бедной Сельмы, которая, как он уверял, не послушалась зова сердца и продалась человеку, не испытывая к нему никаких чувств. А этот жалкий субъект, ее супруг, всецело обязан своим счастьем человеку чести.

Человек чести – это я! Мне стало стыдно, но, увлеченный искренностью этого открытого, простого сердца, я вообразил себя очень несчастным, безутешным, и ложь пробрала меня, как мороз, до мозга костей и приняла образ правды.

Баронесса, сбита с толку моими ловкими увертками и той холодностью, которую я всегда проявлял по отношению к ней, казалось, верила всему и с нежностью старой матушки пыталась меня приободрить.

– Хватит страдать по девицам! Их на свете хоть отбавляй, да куда лучших, чем эта особа. Не сомневайтесь, дитя мое, она немногого стоит, раз не хотела вас ждать. К тому же – теперь я могу вам в этом признаться – я там такого про нее наслушалась, что мне было просто неловко посвящать вас в эти сплетни.

И уже с нескрываемым удовольствием баронесса стала развенчивать мое, как она полагала, божество:

– Она, представьте себе, пыталась даже соблазнить одного лейтенанта из высшего общества... и к тому же она гораздо старше, чем выдает себя... настоящая кокетка, поверьте!

Заметив неодобрительное движение мужа, баронесса сообразила, что совершила оплошность, и, сжимая мне руку, таким нежным взглядом молила у меня прощения, что для меня это было просто пыткой.

Барон, опьянев от выпитого вина, пустился в сентиментальные разглагольствования, изливал душу, признавался мне в братской любви, произносил множество весьма расплывчатых тостов и витал в каких-то высших сферах.

Его одутловатое лицо излучало доброжелательность, он ласкал меня своими печальными глазами, и у меня не оставалось сомнений в надежности его привязанности. Воистину это был большой добрый ребенок, безупречный в своей прямоте, и я поклялся быть ему верным даже ценой собственной гибели. Мы встали из-за стола, чтобы расстаться – быть может, навсегда. Баронесса разрыдалась и обняла мужа, чтобы спрятать мокрое от слез лицо.

– Я совсем с ума сошла! – воскликнула она. – Я так привязалась к этому человечку, что его отъезд приводит меня в отчаяние.

И в порыве любви, чистой и нечистой, бескорыстной или заинтересованной, бешеной, но замаскированной под ангельскую нежность, она поцеловала меня на глазах мужа и, перекрестив, сказала мне прощай.

Старая служанка, стоящая у дверей, вытирала глаза, а мы все трое плакали. Это была торжественная, незабываемая минута. Жертва была свершена.

Я лег около часу ночи, но заснуть не смог. Страх опоздать на пароход не давал мне сомкнуть глаз. Вконец измученный проводами, которые длились уже целую неделю, в крайнем нервном возбуждении из-за ежедневных попок, выбитый из колеи вынужденным бездельем, раздраженный все новыми отсрочками дня отъезда и, главное, обессиленный от пережитых накануне волнений, я вертелся в постели до рассвета. Зная свое слабование и крайнее отвращение к поезду, я решил свершить это путешествие на пароходе, чтобы отрезать себе все пути к отступлению. Пароход отчаливал в шесть утра, экипаж должен был заехать за мной в пять. Один я отправился в путь. Октябрьское утро было ветреным, туманным и очень холодным, деревья белели от изморози. Когда мы доехали до Северного моста, я решил, что у меня начинается галлюцинация: я увидел барона, он шел в том же направлении, в котором ехал мой экипаж. Но это и в самом деле был барон: пренебрегая всеми светскими условностями, он, оказывается, встал в такую рань, чтобы еще раз со мной попрощаться. До глубины души тронутый таким неожиданным проявлением дружбы, – я почувствовал себя недостойным его привязанности, и меня стали мучить жестокие угрызения совести за все мои дурные мысли на его счет. Он не только проводил меня до причала, но и поднялся на борт корабля, посетил мою каюту, представился капитану и попросил его отнестись ко мне с особым вниманием. Короче, он вел себя как старший брат, как преданнейший друг, а когда мы обнялись, у нас у обоих были слезы на глазах.

– Береги себя, старина, – попросил он меня, – мне кажется, ты нездоров.

И в самом деле, мне было как-то не по себе, и все же я держался, пока пароход не отчалил. Но вдруг меня охватил ужас перед этим долгим путешествием, которое я предпринимал без всякой разумной цели, такой ужас, что мне до безумия захотелось броситься в воду и поплыть к берегу. Однако у меня ни на что не было сил, я в нерешительности топтался на палубе и махал платком в ответ на приветствия моего друга, которого я вскоре потерял из виду, так как на рейде стояло много кораблей.

Пароход, на котором я плыл, был транспортным и вез большой груз. У него имелась всего лишь одна каюта, расположенная под нижней палубой. Я добрался до своей койки, повалился на матрас и с головой зарылся в одеяло, намереваясь проспать первые сутки, чтобы отсесть всякую надежду на побег. И в самом деле, я как провалился, но не прошло и получаса, как

я внезапно проснулся, словно меня ударило электрическим током – обычное последствие бессонницы и злоупотребления алкоголем.

И я сразу же осознал свое отчаянное положение. Я вышел на палубу и стал ходить по ней взад-вперед. Мы проплывали мимо бурых голых берегов, листья с деревьев уже пооблетели, луга были серо-желтыми, а в расщелинах скал лежал снег. Сероватая вода с пятнами сепии, темное, зловещее небо, грязная палуба, брань матросов, вонь, доносящаяся до меня из кухни, – все это объединилось воедино, чтобы ввергнуть меня в отчаяние. Я испытывал неодолимую потребность с кем-то поделиться своими переживаниями, но не видел пассажиров. Я поднялся на мостик в надежде поговорить с капитаном. Но это был настоящий медведь, к такому не подступишься. Итак, я на десять дней оказался как в тюрьме, совсем один, в обществе людей, с которыми и словом не обмолвишься, начисто лишенных сердца. Это было настоящей пыткой.

И я снова стал прогуливаться по палубе, вперед-назад, словно от этого должно было скорее пройти время. Моя пылающая голова работала с небывалым напряжением, гудела от мыслей, рождавшихся тысячами ежеминутно, я гнал прочь воспоминания, но они тут же вновь всплывали и теснили друг друга в моем бедном мозгу, и среди всей этой душевной сумятицы меня еще терзала непроходящая боль, подобная зубной, но при этом я не понимал, что именно у меня болит, не знал названия этого страдания. Чем дальше отплывал пароход от берега, приближаясь к открытому морю, тем больше нарастало во мне это напряжение. Словно пуповина, которая связывала меня с родной землей, с родиной, с семьей – с ней, должна была вот-вот разорваться. Болтаясь где-то между небом и землей на крутых волнах, я чувствовал, что буквально теряю почву под ногами, что все меня покинули, и от этого сознания своего одиночества в душе моей рождался смутный страх – я стал бояться всего и всех. Должно быть, во мне есть эта врожденная ущербность, потому что я помню, как давным-давно во время увеселительной прогулки я горько рыдал от разлуки с мамой, хотя тогда мне шел уже двенадцатый год и по физическому развитию я намного опережал своих сверстников. Может, это объясняется тем, что я родился недоношенным, может, все дело в том, что я появился на свет, несмотря на предпринятые попытки избавиться от меня, что весьма часто случалось в многодетных семьях. Так или иначе, но у меня развилось странное малодушие, которое проявлялось всякий раз, когда я собирался изменить место жительства. Так и теперь, вырванный из своей привычной среды, я вдруг испытал панический безотчетный страх перед будущим, перед той незнакомой страной, куда направлялся, перед командой парохода. Впечатлительный, с обнаженными нервами, как, наверное, всякий едва не ставший жертвой аборта ребенок, я был подобен раку во время линьки, когда он без панциря ищет прибежища под камнями и чувствует малейшее колебание барометра, я бродил по пароходу, надеясь встретить человека с более мужественной душой, чем моя. Да, мне не хватало крепкого рукопожатия, теплоты человеческого тела, взгляда дружеских глаз. Я кружился, как заводная кукла, по передней палубе, между капитанским мостиком и надстройкой, и мысленно представлял себе, в каких страданиях я проведу все десять дней пути. А ведь прошел всего час, как мы отвалили от причала. Час, равный вечности, и не было никакой надежды прервать это проклятое путешествие, решительно никакой! Как я ни уговаривал себя, ни вызывал к разуму, все во мне восставало. «Что тебя заставляет уехать? Кто имеет право осудить тебя, если ты решишь вернуться?»

Никто. И все же... Стыд, страх стать посмешищем, дело чести! Нет, надо оставить всякую надежду! Да к тому же этот пароход до Гавра не имеет стоянок. Итак, вперед, мужайся! Но мужество основано на физических и психических силах, а в данный момент я не располагал ни тем, ни другим. Гонимый черными мыслями, которые меня преследовали, я решил теперь гулять по задней палубе, поскольку переднюю я, так сказать, уже выучил наизусть, и релинги, и такелаж, и оснастку я знал, как содержание только что прочитанной книги. Выйдя на заднюю палубу через застекленную дверь, я чуть не толкнул даму, которая примостилась за каютой. Это была старая женщина с грустным выражением лица, одетая во все черное.

Она внимательно, с симпатией посмотрела на меня, так что я счел возможным с ней заговорить. Она ответила мне по-французски, и наше знакомство состоялось.

Обменявшись сперва несколькими незначительными фразами, мы тут же рассказали друг другу о целях нашего путешествия. Ее история была не из веселых. Она оказалась вдовой коммерсанта, торговавшего древесиной, и сейчас ехала из Стокгольма, где гостила у родных, в Гавр, чтобы ухаживать за сыном, который заболел психическим расстройством и помещен там в сумасшедший дом. Рассказ этой дамы, душераздирающий при всей своей краткости и простоте, произвел на меня безмерное впечатление, и вполне вероятно, что именно он, засев в моем свихнувшемся мозгу, и явился толчком для того, что затем последовало.

Дама вдруг прервала начатую фразу, испуганно посмотрела на меня и спросила с сочувствием:

– Как вы себя чувствуете, сударь?

– Я?..

– Да, у вас больной вид! Не пойти ли вам немного поспать?

– По правде говоря, я не спал всю ночь и чувствую себя возбужденным. Как я ни старался, уснуть мне, к сожалению, так и не удалось.

– Это дело поправимое! Немедленно отправляйтесь в каюту, я дам вам такое лекарство, что вы и стоя уснете.

Она встала и ласково подтолкнула меня рукой, чтобы я скорее шел спать. Проводив меня до каюты, она на минуту исчезла и вернулась с бутылочкой, в которой было снотворное лекарство. Она заставила меня тут же выпить ложку этого снадобья и сказала:

– Ну вот, дитя мое, теперь вы будете спать.

Я поблагодарил ее, а она в ответ подоткнула мне со всех сторон одеяло. Как она бесподобно это делала! Она так и излучала то материнское тепло, которое ищет малыш, прижимаясь к груди матери. Нежное прикосновение ее рук меня успокоило, и две минуты спустя меня уже охватило какое-то оцепенение. Мне казалось, что я младенец, я вновь видел свою мать, которая хлопотала у моей кровати, но постепенно бледное лицо матери расплылось, обрело очаровательные черты баронессы, но вместе с тем оно было и лицом доброй пожилой дамы, только что меня покинувшей, и, защищенный видением этих трех женщин, я медленно блек, как блекнут краски, сгорал, как свеча, переставал существовать в виде сознательного индивида.

Проснувшись, я не помнил, чтобы мне что-то снилось, но из головы не шла одна навязчивая идея, словно ее мне внушили за это время: либо я вернусь к баронессе, либо сойду с ума!

Меня охватила дрожь, я вскочил с койки, влажной от сырого ветра, который всюду проникал, и вышел на палубу. Небо было серо-голубым, как листовое железо, и бурливые волны обмывали тросы, заливали палубу и обдали меня пеной с головы до ног.

Поглядев на часы, я прикинул, сколько мы успели пройти во время моего сна, и мне стало ясно, что мы вот-вот выйдем в открытое море, и, следовательно, уже не было никакой надежды на возвращение. Пейзаж показался мне странным, все в нем удивляло меня, начиная с множества островков, раскинутых по всем бухтам, и кончая скалистыми берегами, размером хижин, стоящих у воды вдалеке друг от друга, и формой парусов на рыбацких челнах. И перед этой картиной чужой, незнакомой природы меня охватило предвкушение ностальгии. Меня душило глухое бешенство, отчаяние, что я, словно сельдь в бочке, втиснут в это транспортное судно, нахожусь здесь помимо своей воли, повинуюсь высшей силе, именуемой «вопрос чести».

Изнуренный этим приступом бешенства, я впал в мучительную прострацию. Опершись на релинги, я стоял не двигаясь, хотя брызги так и били меня по горящим щекам, и лихорадочно глядел на берег, то в нелепой надежде обнаружить какую-то возможность остановить пароход, то строя планы добраться до берега вплавь. Мой взгляд следил за причудливой линией побережья, и постепенно я успокаивался, душа безо всяких причин то и дело озарялась тихой радостью, мой воспаленный мозг уже не работал так бешено, на меня наплывали воспомина-

ния о погожих летних днях моей юности, однако объяснить, по какому капризу произошла эта смена настроений, я не мог. Пароход огибал в этот момент высокий мыс. Красные черепичные крыши и побеленные наличники проглядывали между сосен, флагшток, возвышающийся над зеленью садилов, мост, часовня, колокольня, кладбище... Это сон! Или галлюцинация! Нет, это просто тот самый убогий морской курорт, вблизи которого, на островке, я проводил в школьные годы лето... А в этом домике, вон там, наверху, я ночевал весной с моими друзьями, с ней и с ним, после поездки на пароходе и прогулки в лесу... Да, именно там, на этом холме, под ясенями, я любовался ею, когда она стояла на балконе, не мог оторвать глаз от ее прелестного личика, озаренного отсветом ее золотистых волос, будто солнцем, от маленькой японской шляпки с голубой вуалью, от ее крошечной ручки в замшевой перчатке... Она сверху подала мне знак, что обед готов... И мне показалось, что я снова вижу ее на балконе, вижу, как она машет мне платком, зовет своим звонким голосом... И вдруг пароход замедлил ход, машина заглохла, и к нам подплыла лодка лоцманов... Видимо, я ошибся в своих расчетах... Раз, два, три... Мысль, быстрая как молния, пронзила меня и вмиг привела в движение. Будто тигр, я одним прыжком оказался у капитанского мостика, мгновенно взобрался на него и с решимостью в голосе сказал капитану:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.